

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. А. БУНИНА

VII

ПЕТРОПОЛИСЪ





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

И. А. БУНИНА

VII

МИТИНА ЛЮБОВЬ

—
СОЛНЕЧНЫЙ УДАРЪ

**Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation
réservés pour tous pays**

—————
Copyright 1934 by Ivan Bunin.

МИТИНА ЛЮБОВЬ

МИТИНА ЛЮБОВЬ

I

Въ Москвѣ послѣдній счастливый день Мити былъ девятого марта. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему.

Они съ Катей шли въ двѣнадцатомъ часу утра вверхъ по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила веснѣ, на солнцѣ было почти жарко. Какъ будто правда прилетѣли жаворонки и принесли съ собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, съ домовъ капали капли, дворники скалывали ледъ съ тротуаровъ, сбрасывали липкій снѣгъ съ крышъ, и всюду было многолюдно, оживленно. Высокія облака расходились тонкимъ бѣлымъ дымомъ, сливаясь съ влажно-синѣющимъ небомъ. Вдали, въ перспективѣ бульвара, было черно отъ народа, съ благостной задумчивостью высился Пушкинъ, сіялъ Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, въ этотъ день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечіемъ и близостью, часто съ дѣтской довѣрчивостью брала Митю подъ руку и снизу заглядывала въ лицо ему, счастливому даже какъ будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему такъ широко, что она едва поспѣвала за нимъ.

Возлѣ Пушкина она неожиданно сказала:

— Какъ ты смѣшно, съ какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой ротъ, когда смѣешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вотъ еще за твои византійскіе глаза. . .

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно отвѣтилъ, глядя на памятникъ, теперь уже высоко поднявшійся передъ ними:

— Что до мальчишества, то въ этомъ отношеніи мы, кажется, недалеко ушли другъ отъ друга. А на византійца я похожъ такъ же, какъ ты на китайскую императрицу. Вы всѣ просто помѣшались на этихъ Византійяхъ, Возрожденіяхъ. . . Не понимаю я твоей матери!

— Что-жь, ты бы на ея мѣстѣ меня въ теремъ заперъ? — спросила Катя.

— Не въ теремъ, а просто на порогъ не пускалъ бы всю эту яко-бы артистическую богему, всѣхъ этихъ будущихъ знаменитостей изъ студій и консерваторій, изъ театральныхъ школъ, — отвѣтилъ Митя, продолжая стараться быть спокойнымъ и дружелюбно небрежнымъ. — Ты же сама мнѣ говорила, что Буковецкій уже звалъ тебя ужинать въ Стрѣльну, а Егоровъ предлагалъ лѣпить голую, въ видѣ какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь отъ искусства, — сказала Катя. — Можетъ быть, я и гадкая, какъ ты часто говоришь, — сказала она, хотя Митя никогда не говорилъ ей этого, — можетъ, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не

будемъ ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, въ такой чудный день! — Какъ ты не понимаешь, что ты для меня все таки лучше всѣхъ, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже съ дѣланной оболъстительностью заглядывая ему въ глаза, и задумчиво, медлительно продекламовала:

Межъ нами дремлющая тайна,
Душа душѣ дала кольцо. . .

Это послѣднее, эти стихи уже совсѣмъ больно задѣли Митю. Вообще, многое даже и въ этотъ день было непріятно и больно. Непрiятна была шутка на счетъ мальчишеской неловкости: подобныя шутки онъ слышалъ отъ Кати уже не въ первый разъ, и онѣ были не случайны, — Катя нерѣдко проявляла себя то въ томъ, то въ другомъ болѣе взрослой, чѣмъ онъ, нерѣдко (и невольно, то есть, вполне естественно) выказывала свое превосходство надъ нимъ и онъ съ болью воспринималъ это, какъ признакъ ея какой-то тайной порочной опытности. Непрiятно было «все таки» («ты все таки для меня лучше всѣхъ») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженнымъ голосомъ, особенно-же непрiятны были стихи, ихъ манерное чтеніе. Однако даже стихи и это чтеніе, то есть, то самое, что больше всего напоминало Митѣ среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, онъ перенесъ сравнительно легко въ этотъ счастливый день девятаго марта, его послѣдній счастливый день въ Москвѣ, какъ часто казалось ему потомъ.

Въ этотъ день, на возвратномъ пути съ Кузнецкаго Моста, гдѣ Катя купила у Циммермана нѣсколько ве-

щей Скрябина, она между прочимъ заговорила объ его, Митиной, мамѣ и сказала, смѣясь:

— Ты не можешь себѣ представить, какъ я заранѣе боюсь ея!

Почему-то еще ни разу за все время ихъ любви не касались они вопроса о будущемъ, о томъ, чѣмъ ихъ любовь кончится. И вотъ вдругъ Катя заговорила объ его мамѣ и заговорила не просто, а такъ, точно само собой подразумѣвалось, что мама есть ея будущая свекровь.

II

Потомъ все шло какъ будто по прежнему. Митя провожалъ Катю въ студию Художественнаго театра, на концерты, на литературные вечера, или сидѣлъ у нея на Кисловкѣ и засиживался до двухъ часовъ ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ея мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама съ малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдѣльно отъ мужа, у котораго была вторая семья). Забѣгала и Катя къ Митѣ, въ его студенческіе номера на Молчановкѣ, и свиданія ихъ, какъ и прежде, почти сплошь протекали въ тяжкомъ дурманѣ поцѣлуевъ. Но Митѣ упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то измѣнилось, стало мѣняться въ Катѣ.

Быстро пролетѣло то незабвенное легкое время, когда они только что встрѣтились, когда они, едва познакомившись, вдругъ почувствовали, что имъ все-

го интереснѣе говорить (и хоть съ утра до вечера) только другъ съ другомъ, — когда Митя столь неожиданно оказался въ томъ сказочномъ мірѣ любви, котораго онъ втайнѣ ждалъ съ дѣтства, съ отрочества. Этимъ временемъ былъ декабрь, — морозный, погожий, день за днемъ украшавшій Москву густымъ инеемъ и мутно-краснымъ шаромъ низкаго солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь въ вихрѣ непрерывнаго счастья, уже какъ бы осуществленнаго или, по крайней мѣрѣ, вотъ-вотъ готоваго осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нерѣдко казалось, что какъ будто есть двѣ Кати: одна та, которой съ первой минуты своего знакомства съ ней сталъ настойчиво желать, требовать Митя, а другая — подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая съ первой. И все же ничего подобнаго теперешнему не испытывалъ Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весеннія женскія заботы, покупки, заказы, безкончныя переделки то того, то другого и Катѣ дѣйствительно приходилось часто бывать съ матерью у портнихъ, у шляпницъ; кромѣ того у нея впереди былъ экзаменъ, — въ той частной театральной школѣ, гдѣ училась она. Вполнѣ естественной поэтому могла быть ея озабоченность, разсѣянность. И такъ Митя поминутно и утѣшалъ себя. Но утѣшенія не помогали — то, что говорило мнительное сердце вопреки имъ, было сильнѣе и подтверждалось все очевиднѣе: внутренняя невнимательность Кати къ нему все росла, а вмѣстѣ съ тѣмъ росла и его мнительность, его ревность. Директоръ театральной школы кружилъ Катѣ голову по-

хвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Митѣ объ этихъ похвалахъ. Директоръ сказалъ ей: «ты гордость моей школы» — онъ всѣмъ своимъ ученицамъ говорилъ ты, — и, помимо общихъ занятій, сталъ заниматься съ ней постомъ еще и отдѣльно, чтобы блеснуть ею на экзаменахъ особенно. Было-же извѣстно, что онъ развращалъ ученицъ, каждое лѣто увозилъ какую-нибудь съ собой на Кавказъ, въ Финляндію, за границу. И Митѣ стало приходиться въ голову, что теперь директоръ имѣетъ виды на Катю, которая, хотя и не виновата въ этомъ, все таки, вѣроятно, это чувствуетъ, понимаетъ и потому уже какъ-бы находится съ нимъ въ мерзкихъ, преступныхъ отношеніяхъ. И мысль эта мучила тѣмъ болѣе, что слишкомъ очевидно было уменьшеніе вниманія Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее отъ него. Онъ не могъ спокойно думать о директорѣ. Но что директоръ! Казалось, что вообще надъ Катиной любовью стали преобладать какіе-то другіе интересы. Къ кому, къ чему? Митя не зналъ, онъ ревновалъ Катю ко всѣмъ, ко всему, главное, къ тому общему, имъ воображаемому, чѣмъ втайнѣ отъ него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреоборимо тянетъ куда-то прочь отъ него и, можетъ быть, къ чему-то такому, о чемъ даже и помыслить страшно.

Разъ Катя, полушутя, сказала ему въ присутствіи матери:

— Вы, Митя, вообще разсуждаете о женщинахъ по Домострою. И изъ васъ выйдетъ совершенный Отелло. Вотъ ужъ никогда бы не влюбилась въ васъ и не пошла за васъ замужъ!

Мать возразила:

— А я не представляю себѣ любви безъ ревности. Кто не ревнуетъ, тотъ, по моему, не любитъ.

— Нѣтъ, мама, — сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужія слова, — ревность это неуваженіе къ тому, кого любишь. Значить, меня не любятъ, если мнѣ не вѣрятъ, — сказала она, нарочно не глядя на Митю.

— А по моему, — возразила мать, — ревность и есть любовь. Я даже это гдѣ-то читала. Тамъ это было очень хорошо доказано и даже съ примѣрами изъ Библии, гдѣ самъ Богъ называется ревнителемъ и мстителемъ. . .

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецѣло выражалась только въ ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, какъ ему казалось, особенная. Они съ Катей еще не переступили послѣдней черты близости, хотя позволяли себѣ въ тѣ часы, когда оставались одни, слишкомъ многое. И теперь, въ эти часы, Катя бывала еще страстнѣе, чѣмъ прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительнымъ и возбуждало порою ужасное чувство. Всѣ чувства, изъ которыхъ состояла его ревность, были ужасны, но среди нихъ было одно, которое было ужаснѣе всѣхъ и которое Митя никакъ не умѣлъ, не могъ опредѣлить и даже понять. Оно заключалось въ томъ, что тѣ проявленія страсти, то самое, что было такъ блаженно и сладостно, выше и прекраснѣе всего въ мірѣ въ примѣненіи къ нимъ, Митѣ и Катѣ, становилось несказанно мерзко и даже казалось чѣмъ-то противоестественнымъ, когда Митя думалъ о Катѣ и о другомъ мужчинѣ. Тогда Катя возбуждала въ немъ острую ненависть. Все, что, глазъ на глазъ, дѣлалъ съ ней онъ

самъ, было полно для него райской прелести и цѣломудрія. Но какъ только онъ представлялъ себѣ на своемъ мѣстѣ кого-нибудь другого, все мгновенно мѣнялось, — все превращалось въ нѣчто безстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и прежде всего именно ее, а не воображаемаго соперника.

III

Въ день экзамена Кати, который состоялся наконецъ (на шестой недѣлѣ поста), какъ будто особенно подтвердилась вся правота Митиныхъ мученій.

Тутъ Катя уже совсѣмъ не видѣла, не замѣчала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имѣла большой успѣхъ. Она была во всемъ блѣломъ, какъ невѣста, и волненіе дѣлало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директоръ, самодовольный актеръ съ безстрастными и печальными глазами, сидѣвшій въ первомъ ряду, только ради пущей гордости дѣлалъ ей иногда замѣчанія, говоря негромко, но какъ-то такъ, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

— Поменьше читки, — говорилъ онъ вѣско, спокойно и такъ властно, точно Катя была его полной собственностью. — Не играй, а переживай, — говорилъ онъ раздѣльно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтеніе, вызывавшее рукоплесканія. Катя горѣла жаркимъ румянцемъ, смущеніемъ, голосокъ ея иногда срывался, дыханія не хватало, и это было трогательно,

очаровательно. Но читала она съ той пошлой пѣвучестью, фальшью и глупостью въ каждомъ звукѣ, которыя считались высшимъ искусствомъ чтенія въ той ненавистой для Мити средѣ, въ которой уже всѣми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала съ какой-то назойливой томной страстностью, съ неумѣренной, ничѣмъ не обоснованной въ своей настойчивости мольбой, и Митя не зналъ, куда глаза дѣвать отъ стыда за нее. Ужаснѣе же всего была та смѣсь ангельской чистоты и порочности, которая была въ ней, въ ея разгорѣвшемся личикѣ, въ ея бѣломъ платьѣ, которое на эстрадѣ казалось короче, такъ какъ всѣ сидящіе въ залѣ глядѣли на Катю снизу, въ ея бѣлыхъ туфелькахъ и въ обтянутыхъ шелковыми бѣлыми чулками ногахъ. — «Дѣвушка пѣла въ церковномъ хорѣ» — съ дѣланной, неумѣренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной дѣвушкѣ. И Митя чувствовалъ и обостренную близость къ Катѣ, — какъ всегда это чувствуешь въ толпѣ къ тому, кого любишь, — и злую враждебность, чувствовалъ и гордость ею, сознание, что вѣдь все таки ему принадлежитъ она, и вмѣстѣ съ тѣмъ разрывающую сердце боль: нѣтъ, все кончено, нѣтъ, уже не принадлежитъ!

Послѣ экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не вѣрилъ имъ съ той легкостью, какъ прежде. Катя, вспоминая экзаменъ, говорила:

— Какой ты глупый! Развѣ ты не чувствовалъ, что и я и читала-то такъ хорошо только для тебя одного!

Но онъ не могъ забыть, что чувствовалъ онъ на экзаменѣ, и не могъ сознаться, что эти чувства и теперь

не оставили его. Чувствовала его тайныя чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

— Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по твоему, все такъ дурно во мнѣ! И чего ты, наконецъ, хочешь отъ меня?

Но онъ и самъ не понималъ, за что онъ любилъ ее, хотя чувствовалъ, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастаетъ вмѣстѣ съ той ревнивой борьбой, которую онъ велъ съ кѣмъ-то, съ чѣмъ-то изъ-за нея, изъ-за этой любви, изъ-за ея напрягающей силы, все болѣе возрастающей требовательности.

— Ты любишь только мое тѣло, а не душу! — горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужія, театральныя слова, но они, при всей ихъ вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно-неразрѣшимаго. Онъ не зналъ, за что любилъ, не могъ точно сказать, чего хотѣлъ. . . Что это значитъ вообще — любить? Отвѣтить на это было тѣмъ болѣе невозможно, что ни въ томъ, что слышалъ Митя о любви, ни въ томъ, что читалъ онъ о ней, не было ни одного точно опредѣляющаго ее слова. Въ книгахъ и въ жизни всѣ какъ будто разъ и навсегда условились говорить или только о какой-то почти безплотной любви или только о томъ, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывалъ онъ къ ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тѣло доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертнаго блаженства, когда онъ разстегивалъ ея кофточку и цѣловалъ ея грудь, райски прелестную и дѣвственную,

раскрытую съ какой-то душоу потрясающей покорностью, безстыдностью чистѣйшей невинности?

IV

Въ апрѣлѣ Катя еще больше измѣнилась.

Успѣхъ на экзаменѣ сыгралъ свою роль. И все таки не одно это такъ измѣнило ее. Несомнѣнно, были на то и какія-то другія причины. А Митя не понималъ, не зналъ ихъ и только поражался. Какъ-то сразу превратилась Катя съ наступленіемъ весны какъ бы въ какую-то молоденькую свѣтскую даму, блиставшую чуть не каждый день скромными, но дорогими нарядами, оживленную и вѣчно куда-то спѣшащую. Митѣ теперь просто стыдно было за свой темный коридоръ, когда она пріѣзжала, — теперь она не приходила, а всегда пріѣзжала — когда она, шурша шелкомъ, быстро шла по этому коридору, опустивъ на лицо вуальку. Теперь она бывала неизмѣнно нѣжна съ нимъ, но неизмѣнно опаздывала и сокращала свиданія, говоря, что ей опять надо ѣхать съ мамой къ портнихѣ.

— Понимаешь, франтимъ напропалую! — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не вѣритъ ей, что слова ея звучатъ дѣланно, лживо, и все таки говоря, такъ какъ говорить теперь стало совсѣмъ не о чемъ.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала изъ рукъ, на отлетѣ сидя на кровати Мити и съ ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А передъ тѣмъ какъ

уѣхать и сказать, что нынче вечеромъ ея опять не будетъ дома, — опять надо къ кому-то съ мамой! — она неизмѣнно продѣлывала одно и то-же, съ явной цѣлью одурачить его, наградить за всѣ его «глупыя», какъ она выражалась, мученія: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала съ кровати и, вильнувъ бедрами по его ногамъ, говорила поспѣшнымъ шепотомъ:

— Ну, цѣлуй же меня!

V

И въ концѣ апрѣля Митя наконецъ рѣшилъ дать себѣ отдыхъ и уѣхать въ деревню.

Онъ совершенно замучилъ и себя, и Катю, и мука эта была тѣмъ нестерпимѣе, что какъ будто не было никакихъ причинъ для нея: что въ самомъ дѣлѣ случилось, въ чемъ виновата Катя? И однажды Катя, съ твердостью отчаянія, сказала ему:

— Да, уѣзжай, уѣзжай, я больше не въ силахъ! Намъ надо временно разстаться, выяснитъ наши отношенія. Ты сталъ такъ худъ, что мама убѣждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъѣздъ Мити былъ рѣшенъ. Но уѣзжалъ Митя, къ великому своему удивленію, хотя и не помня себя отъ горя, все таки почти счастливый. Какъ только отъѣздъ былъ рѣшенъ, неожиданно вернулось все прежнее. Вѣдь онъ все таки страстно не хотѣлъ вѣрить ничему тому ужасному, что ни днемъ, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малѣйшей перемѣ-

ны въ Катѣ, чтобы опять все измѣнилось въ его глазахъ. А Катя опять стала нѣжна и страстна уже безъ всякаго притворства, — онъ чувствовалъ это съ безошибочной чуткостью ревнивыхъ натуръ, — и опять сталъ онъ сидѣть у нея до двухъ часовъ ночи, и опять было о чемъ говорить, и чѣмъ ближе становился отъ ѣзды, тѣмъ все нелѣпѣе казалось разлука, надобность «выяснить отношенія». Разъ Катя даже заплакала, — а она никогда не плакала, — и эти слезы вдругъ сдѣлали ее страшно родною ему, пронзили его чувствомъ острой жалости и какъ будто какой-то вины передъ ней.

Мать Кати въ началѣ іюня уѣзжала на все лѣто въ Крымъ и увозила и ее съ собой. Рѣшили встрѣтиться въ Мисхорѣ. Митя тоже долженъ былъ пріѣхать въ Мисхорѣ.

И онъ собирался, дѣлалъ приготовленія къ отъѣзду, ходилъ по Москвѣ въ томъ странномъ опьяненіи, которое бываетъ, когда человѣкъ еще бодро держится на ногахъ, но уже боленъ какой-то тяжелой болѣзью. Онъ былъ болѣзненно, пьяно несчастенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненно счастливъ, растроганъ возвратившейся близостью Кати, ея заботливостью къ нему, — она даже ходила съ нимъ покупать дорожные ремни, точно она была его невѣста или жена, — и вообще возвратомъ почти всего того, что напоминало первое время ихъ любви. И такъ-же воспринималъ онъ и все окружающее, — дома, улицы, идущихъ и ѣдущихъ по нимъ, погоду, все время по весеннему хмурившуюся, запахъ пыли и дождя, церковный запахъ тополей, распустившихся за заборами въ переулкахъ: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лѣто, на

встрѣчу въ Крыму, гдѣ уже ничто не будетъ мѣшать и все осуществится (хотя онъ и не зналъ, что именно все).

Въ день отъѣзда зашелъ проститься Протасовъ. Среди гимназистовъ старшихъ классовъ, среди студентовъ нерѣдко встрѣчаются юноши, усвоившіе себѣ манеру держаться съ добродушно-угрюмой насмѣшливостью, съ видомъ чловѣка, который старше, опытнѣе всѣхъ на свѣтѣ. Таковъ былъ и Протасовъ, одинъ изъ ближайшихъ пріятелей Мити, единственный настоящій другъ его, знавшій, не смотря на всю скрытность, молчаливость Мити, всѣ тайны его любви. Онъ глядѣлъ, какъ Митя завязывалъ чемоданъ, видѣлъ, какъ тряслись его руки, потомъ съ грустной мудростью ухмыльнулся и сказалъ:

— Чистыя вы дѣти, прости Господи! А за всѣмъ тѣмъ, любезный мой Вертеръ изъ Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнѣйшее женское естество, и что самъ полицеймейстеръ ничего съ этимъ не подѣляетъ. Ты, естество мужское, лѣзешь на стѣну, предъявляешь къ ней высочайшія требованія инстинкта продолженія рода, и, конечно, все сіе совершенно законно, даже въ нѣкоторомъ смыслѣ священно. Тѣло твое есть высшій разумъ, какъ справедливо замѣтилъ геръ Нитше. Но законно и то, что ты на этомъ священномъ пути можешь сломать себѣ шею. Есть-же особи въ мірѣ животномъ, коимъ даже по штату полагается платить цѣной собственнаго существованія за свой первый и послѣдній любовный актъ. Но такъ какъ для тебя этотъ штатъ, вѣроятно, не совсѣмъ ужъ обязателенъ, то смотри въ оба, поберегай себя. Вообще, не спѣши. «Юнкеръ Шмитъ, чест-

нбе слово, лѣто возвратится!» Свѣтъ не лыкомъ шить, не клиномъ на Катѣ сошелся. Вижу по твоимъ усиліямъ задушить чемоданъ, что ты съ этимъ совершенно не согласенъ, что этотъ клинъ тебѣ весьма любезенъ. Ну, прости за непрошенный совѣтъ — и да хранить тебя Никола Угодникъ со всѣми присными его!

А когда Протасовъ, тиснувъ Митѣ руку, ушелъ, Митя, затягивая въ ремни подушку и одѣяло, услыхалъ въ свое открытое во дворъ окно, какъ загремѣлъ, пробуя голосъ, студентъ, жившій напротивъ, учившійся пѣнію и упражнявшійся съ утра до вечера, — запѣлъ «Азру». Тогда Митя заспѣшилъ съ ремнями, застегнулъ ихъ какъ попало, схватилъ картузь и пошелъ на Кисловку, — проститься съ матерью Кати. Мотивъ и слова пѣсни, которую запѣлъ студентъ, такъ настойчиво звучали и повторялись въ немъ, что онъ не видѣлъ ни улицъ, ни встрѣчныхъ, шелъ еще пьянѣе, чѣмъ ходилъ всѣ послѣдніе дни. Въ самомъ дѣлѣ было похоже на то, что свѣтъ клиномъ сошелся, что юнкеръ Шмитъ изъ пистолета хочетъ застрѣлиться! Ну, что-жъ, сошелся такъ сошелся, думалъ онъ и опять возвращался къ пѣснѣ о томъ, какъ, гуляя по саду и «красой своей сіяя», встрѣчала дочь султана въ саду чернаго невольника, который стоялъ у фонтана «блѣднѣе смерти», какъ однажды спросила она его, кто онъ и откуда, и какъ отвѣтилъ онъ ей, начавъ зловѣще, но смиренно, съ угрюмой простотой:

Зовусь Магометомъ я. . . —

и кончивъ восторженно-трагическимъ воплемъ:

— Я изъ рода бѣдныхъ Азровъ,
Полюбивъ, мы умираемъ!

Катя одѣвалась, чтобы ѣхать на вокзалъ провожать его, ласково крикнула ему изъ своей комнаты, — изъ комнаты, гдѣ онъ провелъ столько незабвенныхъ часовъ! — что она пріѣдетъ къ первому звонку. Милая, добрая женщина съ малиновыми волосами сидѣла одна, курила и очень грустно посмотрѣла на него, — она, вѣроятно, все давно понимала, обо всемъ догадывалась. Онъ, весь алый, внутренно дрожащій, поцѣловалъ ея нѣжную и дряблую руку, по-сыновьи склонивъ голову, и она съ материнской лаской нѣсколько разъ поцѣловала его въ високъ и перекрестила:

— Эхъ, милый, — съ несмѣлой улыбкой сказала она словами Грибоѣдова, — живите-ка смѣясь! Ну, Христось съ вами, поѣзжайте, поѣзжайте. . .

VI

Сдѣлавъ все то послѣднее, что нужно было сдѣлать въ номерахъ, уложивъ свои вещи въ кривую извозчичью пролетку при помощи коридорнаго въ русской рубахѣ, онъ наконецъ неловко усѣлся возлѣ нихъ, тронулся и тотчасъ же почувствовалъ то особое, что охватываетъ при отъѣздѣ, — конченъ (и навсегда) извѣстный срокъ жизни! — и вмѣстѣ съ тѣмъ внезапную легкость, надежду на начало чего-то новаго. Онъ нѣсколько успокоился и бодрѣе, какъ-бы новыми глазами сталъ глядѣть вокругъ. Конецъ, прощай Москва и все, что пережито въ ней! Накрапывало, хмурилось, въ переулкахъ было пусто, булыжникъ былъ темень и блестяль, какъ желѣзный, дома стояли невеселые, гряз-

ные. Извозчикъ везъ съ мучительной неспѣшностью и то и дѣло заставляя Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проѣхали Кремль, потомъ Покровку и опять свернули въ переулки, гдѣ въ садахъ хрипло орала къ дождю и къ вечеру ворона, а все же была весна, — даже въ ревѣ и въ свисткахъ, уже доносившихся изъ-за Курскаго вокзала. Но вотъ наконецъ доѣхали, и Митя бѣгомъ кинулся за носильщикомъ по гулкому и людному вокзалу на перонъ, потомъ на третій путь, гдѣ уже былъ готовъ длинный и тяжелый курскій поѣздъ. И изъ всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поѣздъ, изъ-за всѣхъ носильщиковъ, съ грохотомъ и предупреждающими покрикиваніями катившихъ телѣжки съ вещами, онъ мгновенно выдѣлилъ, увидалъ то, что, «красой своей сіяя», одиноко стояло вдали и казалось совершенно особымъ существомъ не только во всей этой толпѣ, но и во всемъ мірѣ. Уже пробилъ первый звонокъ, — на этотъ разъ опоздалъ онъ, а не Катя. Она трогательно пріѣхала раньше его, она его ждала и кинулась къ нему опять съ заботливостью жены или невесты:

— Милый, занимай скорѣе мѣсто! Сейчасъ второй звонокъ!

А послѣ второго звонка она еще трогательнѣе стояла на платформѣ, снизу глядя на него, стоявшаго въ дверяхъ третьекласснаго вагона, уже биткомъ набитаго и вонючаго. Все въ ней было прелестно, — ея милое хорошенькое личико, ея небольшая фигурка, ея свѣжесть, молодость, гдѣ женственность еще мѣшалась съ дѣтскостью, ея вверхъ поднятые сіяющіе глаза, ея голубая скромная шляпка, въ изгибахъ которой была нѣкоторая изящная задорность, и даже ея темно-сѣ-

рый костюмъ, въ которомъ Митя съ обожаніемъ чувствовалъ даже матерію и шелкъ подкладки. Онъ стоялъ худой, нескладный, на дорогу онъ надѣлъ длинные грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснѣли мѣдью. И все таки Катя смотрѣла на него непритворно любящимъ и грустнымъ взглядомъ. Третій звонокъ такъ неожиданно и рѣзко ударилъ по сердцу, что Митя ринулся съ площадки вагона какъ безумный и такъ-же безумно, съ ужасомъ кинулась къ нему навстрѣчу Катя. Онъ припалъ къ ея перчаткѣ и, вскочивъ назадъ, въ вагонъ, сквозь слезы замахалъ ей картузомъ съ неистовымъ восторгомъ, а она подхватила рукой юбку и поплыла вмѣстѣ съ платформой назадъ, все еще не спуская съ него поднятаго взгляда. Она плыла все быстрѣе по мѣрѣ того какъ вѣтеръ все сильнѣе трепалъ волосы высунувшагося изъ окна Мити, а паровозъ расходился все шибче, все безпощаднѣе, наглымъ, угрожающимъ ревомъ требуя путей, — и вдругъ точно сорвало и ее, и конецъ платформы. . .

VII

Давно наступили долгіе весенніе сумерки, темные отъ дождевыхъ тучъ, тяжелый вагонъ грохоталъ въ голомъ и прохладномъ полѣ, — въ поляхъ весна была еще ранняя, — шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя въ фонари свѣчи, а Митя все еще стоялъ возлѣ дребезжащаго окна, чувствуя запахъ Катиной перчатки, оставшейся на его губахъ,

все еще весь пылалъ острымъ огнемъ послѣдняго мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся цѣликомъ и уже совсѣмъ въ какомъ-то новомъ свѣтѣ вставала передъ нимъ. Въ новомъ свѣтѣ, опять въ новомъ, стояла теперь передъ нимъ и Катя. . . Да, да, кто сумѣетъ выразить, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тѣло? Это что такое? Ничего этого нѣтъ, — есть что-то другое, совсѣмъ другое! Вотъ этотъ запахъ перчатки — развѣ это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тѣло? И мужики, рабочіе въ вагонѣ, женщина, которая ведетъ въ отхожее мѣсто своего безобразнаго ребенка, тускляя свѣчи въ дребезжащихъ фонаряхъ, сумерки въ весеннихъ пустыхъ поляхъ — все любовь, все душа и все мука и все несказанная радость.

Утромъ былъ Орель, пересадка, провинціальный поѣздъ возлѣ дальней платформы. И Митя почувствовалъ: какой это простой, спокойный и родной міръ по сравненію съ московскимъ, уже отошедшимъ куда-то въ тридешатое царство, центромъ котораго была Катя, теперь такая какъ будто одинокая, жалкая, любимая только нѣжно! Даже небо, кое гдѣ подмазанное блѣдной синевою дождевыхъ облаковъ, даже вѣтеръ тутъ проще и спокойнѣе. . . Поѣздъ изъ Орла потянулся медленно, медленно, и Митя не спѣша влѣзъ тульскій печатный пряникъ, сидя въ пустомъ вагонѣ. Потомъ, когда и Орель остался позади, поѣздъ разошелся и умоталъ, усыпилъ его.

Проснулся онъ только въ Верховьѣ. Поѣздъ стоялъ, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже какъ-то захолустно. Пріятно пахло чадомъ станціонной кух-

ни, Митя чувствовалъ голодъ. Онъ съ удовольствіемъ съѣлъ тарелку щей и выпилъ бутылку пива, потомъ опять задремалъ, — глубокая усталость напала на него. А когда онъ опять очнулся, поѣздъ мчался по весеннему березовому лѣсу, уже знакомому, передъ послѣдней станціей. Опять по весеннему сумрачно-темнѣло, въ открытое окно пахло дождемъ и какъ будто грибами. Лѣсъ стоялъ еще совсѣмъ голый, но все же грохотанье поѣзда отдавалось въ немъ отчетливѣе, чѣмъ въ полѣ, а вдали уже мелькали по весеннему печальные огоньки станцій. Вотъ и высокій зеленый огонь семафора, — особенно прелестный въ такія сумерки въ березовомъ голомъ лѣсу, — и поѣздъ со стукомъ сталъ переходить на другой путь. . . Боже, какъ по деревенски жалокъ и милъ работникъ, ждущій барчука на платформѣ! И далекая, столичная красота Кати вспыхнула еще ярче. . .

Сумерки и тучи все сгущались, пока ѣхали отъ станціи по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло въ этихъ необыкновенно мягкихъ сумеркахъ, въ глубочайшей тишинѣ земли, теплой ночи, слившейся съ темнотой неопредѣленныхъ, низко нависшихъ дождевыхъ тучъ, и опять Митя дивился и радовался: какъ спокойна, проста, убога деревня, эти пахучія курныя избы, уже давно спящія, — съ Благовѣщенья добрые люди не вздуваютъ огня, — и какъ хорошо въ этомъ темномъ и тепломъ степномъ мірѣ! Тарантасъ нырялъ по ухабамъ, по грязи, дубы за дворомъ богатаго мужика высились еще совсѣмъ нагіе, непривѣтливые, чернѣли грачиными гнѣздами. У избы стоялъ и вглядывался въ сумракъ странный, какъ будто изъ древности мужикъ: босыя ноги, рваный ар-

мякъ, баранья шапка на длинныхъ прямыхъ волосахъ. . . И пошелъ теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумалъ о дѣвкахъ, о молодыхъ бабахъ, спящихъ въ этихъ избахъ, обо всемъ томъ женскомъ, къ чему онъ приблизился за зиму съ Катей, и все сказочно слилось въ одно — Катя, дѣвки, ночь, весна, запахъ дождя, запахъ распаханной, готовой къ оплодотворенію земли, запахъ лошадиного пота и воспоминаніе о запахѣ лайковой перчатки. . .

VIII

Въ деревнѣ жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станціи Катя какъ будто померкла, растворилась во всемъ окружающемъ. Но нѣтъ, это только такъ показалось и казалось еще нѣсколько дней, пока Митя отсыпался, приходилъ въ себя, привыкалъ къ новизнѣ съ дѣтства знакомыхъ впечатлѣній родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты міра, опять чисто и молодо готоваго къ новому расцвѣту.

Усадьба была небольшая, домъ старый и незатѣйливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни, — жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница гимназистка, и братъ Костя, подростокъ кадетъ, были еще въ Орлѣ, учились, должны были пріѣхать не раньше начала іюня. Мама, Ольга Петровна, была, какъ всегда, занята хозяйствомъ, въ которомъ ей помогалъ только приказчикъ, — староста,

какъ называли его на дворнѣ, — часто бывала въ полѣ, ложилась спать, какъ только темнѣло.

Когда Митя, на другой день по приѣздѣ, проспавши двѣнадцать часовъ, вымытый, во всемъ чистомъ, вышелъ изъ своей солнечной комнаты, — она была окнами въ садъ, на востокъ, — и прошелъ по всѣмъ другимъ, онъ живо испыталъ чувство ихъ родственности и мирной, успокаивающей и душу, и тѣло простоты. Вездѣ все стояло на своихъ привычныхъ мѣстахъ, какъ и много лѣтъ тому назадъ, и такъ-же знакомо и пріятно пахло; вездѣ къ его приѣзду все было прибрано, во всѣхъ комнатахъ были вымыты полы. Домывали только залъ, примыкавшій къ прихожей, къ лакейской, какъ ее называли еще до сихъ поръ. Веснушчатая дѣвка, поденщица съ деревни, стояла на окнѣ возлѣ дверей на балконъ, тянулась къ верхнему стеклу, со свистомъ протирая его и отражаясь въ нижнихъ стеклахъ синѣющимъ, какъ-бы далекимъ, отраженіемъ. Горничная Параша, вытащивъ большую тряпку изъ ведра съ горячей водой, босая, бѣлоногая, шла по залитому полу на маленькихъ пяткахъ и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая потъ съ разгорѣвшагося лица сгибомъ засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свѣту уѣхали на станцію со старостой, вы небось и не слышали. . .

И тотчасъ-же Катя властно напомнила о себѣ: Митя поймалъ себя на вожделѣніи къ этой засученной женской рукѣ и къ женственному изгибу тянувшейся вверхъ дѣвки на окнѣ, къ ея юбкѣ, подъ которую крѣпкими тумбочками уходили голыя ноги, и съ радостью ощутилъ власть Кати, свою принадлежность ей, по-

чувствовалъ ея тайное присутствіе во всѣхъ впечатлѣніяхъ этого утра.

И присутствіе это чувствовалось все живѣе и живѣе съ каждымъ новымъ днемъ и становилось все прекраснѣе, по мѣрѣ того какъ Митя приходилъ въ себя, успокаивался, освобождался отъ болѣзненной остроты ощущеній, при которой все ранѣло въ Москвѣ, — по мѣрѣ того какъ все полнѣе воспринималъ онъ весну, деревню и забывалъ ту, обыкновенную, Катю, которая въ Москвѣ такъ часто и такъ мучительно не сливалась съ Катей, созданной его желаніемъ.

IX

Первый разъ жилъ онъ теперь дома взрослымъ, съ которымъ даже мама держалась какъ-то иначе, чѣмъ прежде, а главное, жилъ съ первой настоящей любовью въ душѣ, уже осуществляя то самое, чего втайнѣ ждало все его существо съ дѣтства, съ отрочества, то, для чего оно росло и зрѣло съ самаго перваго своего дня на землѣ.

Еще въ младенчествѣ дивно и таинственно шевельнулось въ немъ нѣчто невыразимое на человѣческомъ языкѣ. Когда-то и гдѣ-то, должно быть, тоже весной, въ саду, возлѣ кустовъ сирени, — запомнился острый запахъ шпанскихъ мухъ — онъ, совсѣмъ маленькій, стоялъ съ какой-то молодой женщиной, — вѣроятно, съ своей нянькой, — и вдругъ что-то точно озарилось передъ нимъ небеснымъ свѣтомъ, — не то лицо ея, не

то сарафанъ на полной груди, — и что-то горячей волной прошло, взыграло въ немъ, истинно какъ дитя во чревѣ матери. . . Но то было какъ во снѣ. Какъ во снѣ было и все, что было потомъ, — въ дѣтствѣ, отрочествѣ, въ гимназическіе годы. Были какія-то особыя, ни на что не похожія восхищенія то одной, то другой изъ тѣхъ дѣвочекъ, которыя пріѣзжали со своими матерями на его дѣтскіе праздники, тайное жадное любопытство къ каждому движенію этого чарующаго, тоже ни на что не похожаго маленькаго существа въ платьицѣ, въ башмачкахъ, съ бантомъ шелковой ленты на головкѣ. Было (это уже позднѣе, въ губернскомъ городѣ) длившееся почти всю осень и уже гораздо болѣе сознательное восхищеніе гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерамъ на веревѣ за заборомъ сосѣдняго сада: ея рѣзвость, насмѣшливость, коричневое платьице, круглый гребешокъ въ волосахъ, грязныя ручки, смѣхъ, звонкій крикъ — все было таково, что Митя думалъ о ней съ утра до вечера, грустилъ, порою даже плакалъ, неутомимо что-то желая отъ нея. Потомъ и это какъ-то само собой кончилось, забылось, и были новыя, болѣе или менѣе долгія, — и опять таки сокровенныя, — восхищенія, были острыя радости и горести внезапной влюбленности на гимназическихъ балахъ. . . были какія-то томленія въ тѣлѣ, въ сердцѣ же смутныя предчувствія, ожиданія чего-то. . .

Онъ родился и выросъ въ деревнѣ, но гимназистомъ поневолѣ проводилъ весну въ городѣ, за исключеніемъ одного года, позапрошлаго, когда онъ, пріѣхавъ въ деревню на масленицу, захворалъ и, поправляясь, пробылъ дома мартъ и половину апрѣля. Это было незабвенное время. Недѣли двѣ онъ лежалъ и

только въ окно видѣлъ каждый день мѣняющіяся вмѣстѣ съ увеличеніемъ въ мірѣ тепла и свѣта небеса, снѣгъ, садъ, его стволы и вѣтви. Онъ видѣлъ: вотъ утро, и въ комнатѣ такъ ярко и тепло отъ солнца, что уже ползають по стекламъ оживающія мухи. . . вотъ послѣобѣденный часъ на другой день: солнце за домомъ, съ другой его стороны, а въ окнѣ уже до голубизны блѣдный весенній снѣгъ и мраморное небо — крупныя бѣлыя облака въ синевѣ, въ вершинахъ деревьевъ. . . а вотъ, еще черезъ день, въ облачномъ небѣ такія яркія прогалины и на корѣ деревьевъ такой мокрый блескъ и такъ каплетъ съ крыши надъ окномъ, что не нарадуешься, не нагладишься. . . Послѣ-же этого пошли теплые туманы, дожди, снѣгъ распустило и сѣло въ нѣсколько сутокъ, тронулась рѣка, стала радостно и ново чернѣть, обнажаться и въ саду, и на дворѣ земля. . . И надолго запомнился Митѣ одинъ день въ концѣ марта, когда онъ въ первый разъ поѣхалъ верхомъ въ поле. Небо не ярко, но такъ живо, такъ молодо свѣтилось въ блѣдныхъ, въ безцвѣтныхъ деревьяхъ сада. Въ полѣ еще свѣжо дуло, жнивья были дики и рыжи, а тамъ, гдѣ пахали, — уже пахали подъ овесъ, — маслянисто, съ первобытной мощью чернѣли взметы. И онъ цѣликомъ ѣхалъ по этимъ жнивьямъ и взметамъ по направленію къ лѣсу, лежавшему вдали, въ лощинахъ, и издалика видѣлъ его въ чистомъ воздухѣ, — голый, маленькій, видный изъ конца въ конецъ, — потомъ спустился въ эти лощины и зашумѣлъ копытами лошади по глубокой прошлогодней листьѣ, мѣстами совсѣмъ сухой, палевой, мѣстами мокрой, коричневой, переѣхалъ засыпанные ею овраги, гдѣ еще шла полая вода, а изъ-подъ кустовъ

съ трескомъ вырывались прямо изъ-подъ ногъ лошади смугло-золотые вальдшнепы. . . Чѣмъ была для него вся эта весна и особенно этотъ день, когда такъ свѣжо дуло навстрѣчу ему въ полѣ, а лошадь, одолѣвавшая насыщенные влагой жнивья и черныя пашни, такъ шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутромъ съ великолѣпной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности въ кого-то и во что-то, когда онъ любилъ всѣхъ гимназистокъ и всѣхъ дѣвокъ въ мірѣ. Но какимъ далекимъ казалось ему это время теперь! Насколько былъ онъ тогда еще совсѣмъ мальчикъ, невинный, простосердечный, бѣдный своими скромными печалями, радостями и мечтаніями! Сномъ или скорѣе воспоминаніемъ о какомъ-то чудесномъ снѣ была тогда его безпредметная, безплотная любовь. Теперь же въ мірѣ была Катя, была душа, этотъ міръ въ себѣ воплотившая и надо всѣмъ надъ нимъ торжествующая.

Х.

Только разъ въ это первое время напомнила о себѣ Катя зловѣще.

Однажды, поздно вечеромъ, Митя вышелъ на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырымъ полемъ. Изъ-за ночныхъ облаковъ, надъ смутными очертаніями сада, слезились мелкія звѣзды. И вдругъ гдѣ-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаемъ, визгомъ. Митя вздрогнулъ, оцѣпенѣлъ, потомъ осторожно сошелъ съ крыльца, вошелъ въ темную,

какъ-бы со всѣхъ сторонъ враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и сталъ ждать, слушать: что это такое, гдѣ оно, — то, что такъ неожиданно и страшно огласило садъ? Сычъ, лѣсной пугачъ, совершающій свою любовь, и больше ничего, думалъ онъ, а весь замиралъ какъ бы отъ незримаго присутствія въ этой тѣмнѣ самого дьявола. И вдругъ опять раздався гулкій, всю Митину душу потрясшій вой, гдѣ-то близко, въ верхушкахъ аллеи, затрещало, зашумѣло — и дьяволь безшумно перенесся куда-то въ другое мѣсто сада. Тамъ онъ сначала залаялъ, потомъ сталъ жалобно, моляще, какъ ребенокъ, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать съ мучительнымъ наслажденіемъ, сталъ взвизгивать, закатываться такимъ ерническимъ смѣхомъ, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился въ темноту и глазами, и слухомъ. Но дьяволь вдругъ сорвался, захлебнулся и, прорѣзавъ темный садъ предсмертно-истомнымъ воплемъ, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождавъ возобновленія этого любовнаго ужаса еще нѣсколько минутъ, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сонъ всѣми тѣми болѣзненными и отвратительными мыслями и чувствами, въ которыя превратилась въ мартѣ въ Москвѣ его любовь.

Однако утромъ, при солнцѣ, его ночныя терзанія быстро разсѣялись. Онъ вспомнилъ, какъ заплакала Катя, когда они твердо рѣшили, что онъ долженъ на время уѣхать изъ Москвы, вспомнилъ, съ какимъ восторгомъ она ухватилась за мысль, что онъ тоже пріѣдетъ въ Крымъ въ началѣ іюня, и какъ трогательно помогала она ему въ его приготовленіяхъ къ отъѣзду, какъ провожала она его на вокзалѣ... Онъ вынулъ

ея фотографическую карточку, долго, долго вглядывался въ ея маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ея прямого, открытаго (чуть круглаго) взгляда. . . Потомъ написалъ ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное вѣры въ ихъ любовь, и опять возвратился къ непрестанному ощущенію ея любовнаго и свѣтлаго пребыванія во всемъ, чѣмъ онъ жилъ и радовался.

Онъ помнилъ, что онъ испыталъ, когда умеръ отецъ, девять лѣтъ тому назадъ. Это было тоже весной. На другой день послѣ этой смерти, робко, съ недоумѣніемъ и ужасомъ пройдя по залу, гдѣ съ высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими блѣдными руками лежалъ на столѣ, чернѣлъ своей сквозной бородой и бѣлѣлъ носомъ наряженный въ дворянскій мундиръ отецъ, Митя вышелъ на крыльцо, глянулъ на стоявшую возлѣ двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчей, — и вдругъ почувствовалъ: въ мірѣ смерть! Она была во всемъ: въ солнечномъ свѣтѣ, въ весенней травѣ на дворѣ, въ небѣ, въ саду. . . Онъ пошелъ въ садъ, въ пеструю отъ свѣта липовую аллею, потомъ въ боковыя аллеи, еще болѣе солнечныя, глядѣлъ на деревья и на первыхъ бѣлыхъ бабочекъ, слушалъ первыхъ сладко заливающихся птицъ — и ничего не узнавалъ: во всемъ была смерть, страшный столъ въ залѣ и длинная парчевая крышка на крыльцѣ! Не попрежнему, какъ-то не такъ свѣтило солнце, не такъ зеленѣла трава, не такъ замирали на весенней, только еще сверху горячей травѣ бабочки, — все было не такъ, какъ сутки тому назадъ, все преобразилось какъ бы отъ близости конца міра, и жалка,

горестна стала прелесть весны, ея вѣчной юности! И это длилось долго и потомъ, длилось всю весну, какъ еще долго чувствовался — или мнился — въ вымытомъ и много разъ провѣтренномъ домѣ страшный, мерзкій, сладковатый запахъ. . .

Такое же навожденіе, — только совсѣмъ другого порядка, — испытывалъ Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чѣмъ всѣ прежнія весны. Міръ опять былъ преображенъ, опять полонъ какъ будто чѣмъ-то постороннимъ, но только не враждебнымъ, не ужаснымъ, а напротивъ, — дивно сливающимся съ радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вѣрнѣе, то прелестнѣйшее въ мірѣ, чего отъ нея хотѣлъ, требовалъ Митя. Теперь, по мѣрѣ того какъ шли весенніе дни, онъ требовалъ отъ нея все больше и больше. И теперь, когда ея не было, былъ только ея образъ, образъ не существующій, а только желанный, она, казалось, ничѣмъ не нарушала того безпорочнаго и прекраснаго, чего отъ нея требовали, и съ каждымъ днемъ все живѣе и живѣе чувствовалась во всемъ, на что бы ни взглянулъ Митя.

ХІ.

Онъ съ радостью убѣдился въ этомъ въ первую-же недѣлю своего пребыванія дома. Тогда былъ какъ бы еще канунъ весны. Онъ сидѣлъ съ книгой возлѣ открытаго окна гостиной, глядѣлъ межъ стволовъ пихтъ и сосенъ въ палисадникѣ на грязную рѣчку въ лугахъ, на деревню на косогорахъ за рѣчкой: еще съ утра до

вечера, неустанно, изнемогая отъ блаженной хлопотливости, такъ, какъ орутъ они только ранней весной, орали грачи въ голыхъ вѣковыхъ березахъ въ сосѣднемъ помѣщичьемъ саду, и еще дикъ, сѣръ былъ видъ деревни на косогорахъ и только еще однѣ лозины покрывались тамъ желтоватой зеленью. . . Онъ шелъ въ садъ: и садъ былъ еще низокъ и голъ, прозраченъ, — только зеленѣли поляны, всѣ испещренные мелкими бирюзовыми цвѣточками, да опушился акатникъ вдоль аллеи и блѣдно бѣлѣлъ, мелко цвѣлъ одинъ вишеникъ въ лощинѣ, въ южной, нижней части сада. . . Онъ выходилъ въ поле: еще пусто, сѣро было въ полѣ, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшія полевые дороги. . . И все это была нагота молодости, поры ожиданія — и все это была Катя. И это только такъ казалось, что отвлекаютъ дѣвки поденщицы, дѣлающія то то, то другое въ усадьбѣ, работники въ людской, чтеніе, прогулки, хожденіе на деревню къ знакомымъ мужикамъ, разговоры съ мамой, поѣздки со старостой (рослымъ, грубымъ отставнымъ солдатомъ) въ поле на бѣговыхъ дрожжахъ.

Потомъ прошла еще недѣля. Разъ ночью былъ обломный дождь, а потомъ горячее солнце какъ-то сразу вошло въ силу, весна потеряла свою кротость и блѣдность, и все вокругъ на глазахъ стало мѣняться не по днямъ, а по часамъ. Стали распахивать, превращать въ черный бархатъ жнивья, зазеленѣли полевые межи, сочнѣе стала мурава на дворѣ, гуще и ярче засинѣло небо, быстро сталъ одѣваться садъ свѣжей, мягкой даже на видъ зеленью, залиловѣли и запахла сѣрья кисти сирени и уже появилось множество черныхъ,

металлически блестящихъ синевой крупныхъ мухъ на ея темно-зеленой глянцевиой листьѣ и на горячихъ пятнахъ свѣта на дорожкахъ. На яблоняхъ, грушахъ еще были видны вѣтви, ихъ едва тронула мелкая, сѣроватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшія сѣти своихъ кривыхъ вѣтвей подъ другими деревьями, всѣ уже закудрявились млечнымъ снѣгомъ, и съ каждымъ днемъ этотъ цвѣтъ становился все бѣлѣе, все гуще и все благовоннѣе. Въ это дивное время радостно и пристально наблюдалъ Митя за всѣми весенними измѣненіями, происходящими вокругъ него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди нихъ, а напротивъ, — она участвовала въ нихъ во всѣхъ и всему придавала себя, свою красоту, расцвѣтающую вмѣстѣ съ расцвѣтомъ весны, съ этимъ все роскошнѣе бѣлѣющимъ садомъ и все темнѣе синѣющимъ небомъ.

XII

И вотъ однажды, выйдя въ залъ, полный предвечерняго солнца, къ чаю, Митя неожиданно увидѣлъ возлѣ самовара почту, которую онъ напрасно ждалъ все утро. Онъ быстро подошелъ къ столу — ужъ давно должна была Катя отвѣтить хоть на одно изъ писемъ, что отправилъ онъ ей, — и ярко и жутко блеснулъ ему въ глаза небольшой изысканный конвертъ съ надписью на немъ знакомымъ жалкимъ почеркомъ. Онъ схватилъ его и зашагалъ вонъ изъ дома, потомъ по саду, по главной аллеѣ. Онъ ушелъ въ самую дальнюю часть сада, туда, гдѣ черезъ него проходила лощина,

и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвалъ конвертъ. Письмо было кратко, всего въ нѣсколько строкъ, но Митѣ нужно было разъ пять прочесть ихъ, чтобы наконецъ понять — такъ колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читалъ и перечитывалъ онъ — и земля плыла у него подъ ногами отъ этихъ восклицаній. Онъ поднялъ глаза: — надъ садомъ торжественно и радостно сіяло небо, вокругъ сіялъ садъ своей снѣжной бѣлизной, соловей, уже чужая предвечерній холодокъ, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвенія, щелкалъ въ свѣжей зелени дальнихъ кустовъ — и кровь отлила отъ его лица, мурашки побѣжали по волосамъ. . .

Домой онъ шель медленно — чаша его любви была полна съ краями. И такъ же осторожно носилъ онъ ее въ себѣ и слѣдующіе дни, тихо, счастливо, гордо ожидая новаго письма.

XIII

Дни шли, смѣнялись одинъ другимъ. Однако новаго письма не было.

Садъ разнообразно одѣвался.

Огромный старый клень, возвышавшійся надъ всей южной частью сада, видный отовсюду, сталъ еще больше и виднѣе, — одѣлся до послѣдней вѣтви, зеленѣлъ ярко и пышно.

Выше и виднѣе стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрѣлъ изъ своихъ оконъ: вершины ея старыхъ липъ, тоже покрывшіяся, хотя еще и про-

зрачно, узоромъ юной листеы, поднялись и протянулись надъ садомъ свѣтло-зеленой грядюю.

А ниже клена, ниже аллеи лежало цѣлое море кудряваго сливочнаго цвѣта, благоухающее въ солнечномъ свѣтѣ.

И все это: огромная и пышная вершина клена, свѣтло-зеленая гряда аллеи, подвѣчная бѣлизна яблонь, грушъ, черемухъ, солнце, синева неба и все то, что разрасталось въ низахъ сада, въ лощинѣ, вдоль боковыхъ аллей и дорожекъ и подъ фундаментомъ южной стѣны дома, то есть кусты сирени, акаціи и смородины, лопухи, крапива, чернобыльникъ, все поражало своей густотой, свѣжестью и новизной.

На чистомъ зеленомъ дворѣ отъ надвигающейся отовсюду растительности стало какъ будто тѣснѣе, домъ сталъ какъ будто меньше и красивѣе. Онъ какъ будто ждалъ гостей — по цѣлымъ днямъ были открыты и двери, и окна во всѣхъ комнатахъ: въ бѣломъ залѣ, въ синей старомодной гостиной, въ маленькой диванной, тоже синей и увѣшанной овальными миниатюрами, и въ солнечной библіотекѣ, большой и пустой угловой комнатѣ со старыми иконами въ переднемъ углу и низкими книжными шкапами изъ ясени вдоль стѣны. И вездѣ въ комнаты празднично глядѣли прибившіяся къ дому разнообразно зеленыя, то свѣтлыя, то темныя, деревья съ яркой синевой между вѣтвями.

Но письма не было. И Митѣ было уже не по себѣ. Онъ зналъ неспособность Кати къ письмамъ и то, какъ трудно ей всегда собраться сѣсть за письменный столъ, найти перо, бумагу, конвертъ, а главное, не забыть купить марку и остановиться возлѣ почтоваго ящика.

Но разумныя соображенія опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая увѣренность, съ которой онъ нѣсколько дней ждалъ второго письма, исчезла, — онъ томился и тревожился все сильнѣе. Вѣдь за такимъ письмомъ, какъ первое, немедленно, тотчасъ-же должно было послѣдовать что-то еще болѣе прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Онъ рѣже сталъ ходить на деревню, ѣздить въ поле. Онъ сидѣлъ въ библиотекѣ, перелистывалъ журналы, уже десятки лѣтъ желтѣвшіе и сохнувшіе въ шкапахъ. Въ журналахъ было много прекрасныхъ стиховъ старыхъ поэтовъ, чудесныхъ строкъ, говорившихъ почти всегда объ одномъ, — о томъ, чѣмъ полны всѣ стихи и пѣсни съ начала міра, чѣмъ жила теперь и его душа и что неизмѣнно могъ онъ такъ или иначе отнести къ самому себѣ, къ своей любви, къ Катѣ. И онъ по цѣлымъ часамъ неподвижно сидѣлъ въ креслѣ возлѣ раскрытаго шкапа и на всѣ лады сладко мучилъ себя, читая и перечитывая:

Люди спятъ, мой другъ, пойдемъ въ тѣнистый садъ!
Люди спятъ, однѣ лишь звѣзды къ намъ глядятъ. . .

Всѣ эти чарующія слова, всѣ эти призывы были какъ бы его собственными, обращены были теперь какъ будто только къ одной, къ той, кого неотступно видѣлъ во всемъ и всюду онъ, Митя, и звучали порою почти грозно:

Надъ зеркальными водами
Машутъ лебеди крылами —
И колышется рѣка:

О приди-же! Звѣзды блещутъ,
Листья медленно трепещутъ
И находятъ облака. . .

Онъ, закрывая глаза, холодѣя, по нѣскольکو разъ кряду повторялъ этотъ призывъ, зовъ сердца, переполненнаго любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженнаго разрѣшенія. Потомъ долго смотрѣлъ передъ собою, слушалъ глубокое деревенское молчаніе, окружавшее домъ, — и горько качалъ головой. Нѣтъ, она не отзывалась, она безмолвно сіяла гдѣ-то тамъ, въ чужомъ и далекомъ московскомъ мірѣ! — И опять отливала отъ сердца нѣжность — опять росло, ширилось это грозное, зловѣщее, заклинающее:

Надъ зеркальными водами
Машутъ лебеди крылами
И колышется рѣка. . .

— О приди-же! Звѣзды блещутъ,
Листья медленно трепещутъ
И находятъ облака. . .

XIV

Однажды, подремавъ послѣ обѣда, — обѣдали въ полдень — Митя вышелъ изъ дома и не спѣша пошелъ въ садъ. Въ саду часто работали дѣвки, окапывали яблони, работали онѣ и нынче. Митя шелъ посидѣть возлѣ нихъ, поболтать съ ними, — это уже входило въ привычку.

День былъ жаркій, тихій. Митя шелъ въ сквозной тѣни аллеи и далеко видѣлъ вокругъ себя кудрявыя бѣлоснѣжныя вѣтви. Особенно силенъ, густъ былъ цвѣтъ на грушахъ, и смѣсь этой бѣлизны и яркой синевы неба давала фіолетовый оттѣнокъ. И груши, и яблони цвѣли и осыпались, разрытая земля подъ ними была вся усѣяна блеклыми лепестками. Въ теплому воздуху чувствовался ихъ сладковатый нѣжный запахъ вмѣстѣ съ запахомъ нагрѣтаго и прѣющаго на скотномъ дворѣ навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубѣло, и теплый воздухъ и эти тлѣнные запахи дѣлались еще нѣжнѣе и слаще. И все душистое тепло этого весенняго рая дремотно и блаженно гудѣло отъ пчелъ и шмелей, зарывавшихся въ его медвяный кудрявый снѣгъ. И все время, блаженно скучая, по дnevному, то тамъ, то здѣсь цокала то одинъ, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налѣво, въ углу садоваго вала, чернѣлъ ельникъ. Возлѣ ельника пестрѣли среди яблонь двѣ дѣвки. Митя, какъ всегда, повернулъ со середины аллеи на нихъ, — нагибаясь, пошелъ среди низкихъ и раскидистыхъ вѣтвей, женственно касавшихся его лица и пахнувшихъ и медомъ, и какъ будто лимономъ. И, какъ всегда, одна изъ дѣвокъ, рыжая, худая Сонька, лишь только завидѣла его, дико захохотала и закричала:

— Ой, хозяинъ идетъ! — закричала она съ приторнымъ испугомъ и соскочивъ съ толстаго сука груши, на которомъ она отдыхала, кинулась къ лопатѣ.

Другая дѣвка, Глашка, сдѣлала, напротивъ, видъ, что совсѣмъ не замѣчаетъ Митю и, не спѣша, крѣпко ставя на желѣзную лопату ногу въ мягкой чунѣ изъ

чернаго войлока, за которую набились бѣлые лепестки, энергично врѣзая лопату въ землю и переворачивая отрѣзанный ломоть, громко запѣла сильнымъ и пріятнымъ голосомъ: «Ужъ ты садъ, ты мой садъ, для кого-жъ ты цвѣтешь!» Это была дѣвка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошелъ и сѣлъ на мѣсто Соньки, на старый грушевый сукъ, лежавшій на разсохѣ. Сонька ярко глянула на него и громко, съ дѣланной развязностью и веселостью спросила:

— Ай только встали? Смотрите, дѣла не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умѣла, держала себя при немъ неловко, говорила что попало, всегда однако намекая на что-то, смутно угадывая, что разсѣянность, съ которой Митя постоянно и приходилъ и уходилъ, не простая. Она подозрѣвала, что Митя живетъ съ Парашей или, по крайней мѣрѣ, домогается этого, она ревновала и говорила съ нимъ то нѣжно, то рѣзко, глядѣла то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Митѣ странное удовольствіе. Письма не было и не было, онъ теперь не жилъ, а только изодня на день существовалъ въ непрестанномъ ожиданіи, все болѣе томясь этимъ ожиданіемъ и невозможностью ни съ кѣмъ подѣлиться тайной своей любви и муки, поговорить о Катѣ, о своихъ надеждахъ на Крымъ, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему пріятны: вѣдь все таки эти разговоры какъ бы касались того сокровеннаго, чѣмъ томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена въ него, а значить, отчасти близка ему, что дѣлало ее какъ-бы тайной соучастницей любовной жизни его ду-

ши, даже давало порой странную надежду, что въ Сонькѣ можно найти не то наперсницу своихъ чувствъ, не то нѣкоторую замѣну Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозрѣвая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дѣла не проспите!» Онъ посмотрѣлъ вокругъ. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая передъ нимъ, казалась отъ яркости дня почти черной, и небо сквозило въ ея острыхъ верхушкахъ особенно великолѣпной синевою. Молодая зелень липъ, кленовъ, вязовъ, насквозь свѣтлая отъ солнца, всюду проникавшаго ее, составляла по всему саду легкой радостный навѣсъ, сыпала пестроту тѣни и яркихъ пятенъ на траву, на дорожки, на поляны; жаркій и душистый цвѣтъ, бѣлѣвшій подъ этимъ навѣсомъ, казался фарфоровымъ, сіялъ, свѣтился тамъ, гдѣ солнце тоже проникало его. Митя подумалъ:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый,
Дремлющихъ кленовъ шатерь. . .

Только въ мірѣ и есть, что душистый
Милой головки проборъ. . . —

и, противъ воли улыбаясь, спросилъ Соньку:

— Какое-же дѣло я могу prospать? То-то и горе, что у меня и дѣлъ-то никакихъ нѣту.

— Молчите ужъ, не божитесь, и такъ повѣрю! — крикнула Сонька въ отвѣтъ весело и грубо, опять своимъ недовѣріемъ къ отсутствію у Мити любовныхъ дѣлъ доставляя ему удовольствіе, и вдругъ опять зарала, отмахиваясь отъ рыжаго, съ бѣлой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышелъ изъ ельника, подошелъ къ ней сзади и сталъ жевать оборку ея ситцеваго платья:

— Ахъ, оморокъ тебя возьми! Вотъ еще сыночка Богъ послалъ!

— Правда, говорятъ, за тебя сватаются? — сказалъ Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговоръ. — Говорятъ, дворъ богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься. . .

— Богатъ, да дурковатъ, въ головѣ рано смеркается, — бойко отвѣтил Сонька, нѣсколько польщенная. — У меня, можетъ, объ другомъ объ комъ думки идутъ. . .

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

— Ужъ и несешь ты, дѣвка, и съ Дону, и съ моря! — не громко сказала она. — Ты тутъ брешешь спронея, а по селу слава пойдетъ. . .

— Молчи, не кудахтай! — крикнула Сонька. — Авось я не ворона, есть оборона!

— А о комъ-же это о другомъ у тебя думки идутъ? — спросилъ Митя.

— Такъ и призналась! — сказала Сонька. — Вонъ въ вашего дѣда пастуха влюбилась. Увижу, такъ до пять горячо! Я, не хуже вашего, все на старыхъ лошадяхъ ѣзжу, — сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилѣтнюю Парашу, которая на деревнѣ считалась уже старой дѣвкой. И, внезапно бросивъ лопату, со смѣлостью, на которую она какъ будто имѣла нѣкоторое право вслѣдствіе своей тайной и влюбленности въ барчука, сѣла на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги въ старыхъ грубыхъ полсапожкахъ и въ шерстяныхъ пѣгихъ чулкахъ и безпомощно уронила руки.

— Охъ, ничего не дѣлала, а уморилась! — крикнула она, смѣясь. — Сапоги мои худые, — пронзительно запѣла она, —

Сапоги мои худые,
Носки лаковые —

и опять закричала, смѣясь:

— Пойдемте со мной въ салашъ отдыхать, я на все согласная!

Смѣхъ этотъ заразилъ Митю. Широко и неловко улыбаясь, онъ соскочилъ съ сука и, подойдя къ Сонькѣ, легъ и положилъ ей голову на колѣни. Сонька скинула ее — онъ опять положилъ, опять думая стихами, которыхъ онъ начитался за послѣдніе дни:

Вижу, роза, — счастья сила
Яркій свитокъ твой раскрыла
И увлажила росой —
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Миръ любви передо мной. . .

— Не трожьте меня! — закричала Сонька уже съ искреннимъ испугомъ, стараясь поднять и отбросить его голову, которую онъ напруживалъ. — А то такъ закричу, всѣ волки въ лѣсу завоютъ! У меня ничего для васъ нѣту, горѣло, да потухло!

Митя закрылъ глаза и молчалъ. Солнце, дробясь черезъ листву, вѣтви и грушевый цвѣтъ, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нѣжно и зло рванула его черные жесткіе волосы, — «чисто у лошади!» — крикнула она, — и прикрыла ему кар-

тузомъ глаза. Подъ затылкомъ онъ чувствовалъ ея ноги, — самое страшное въ мірѣ, женскія ноги! — макушкой касался ея живота, слышалъ запахъ ситцевой юбки и кофточки, и все это мѣшалось съ цвѣтущимъ садомъ и съ Катей; томное цоканье соловьевъ вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжаніе несмѣтныхъ пчель, медвяный теплый воздухъ и даже простое ощущеніе земли подъ спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловѣческаго счастья. И вдругъ въ ельникѣ что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потомъ гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» — и такъ жутко, такъ выпукло, такъ близко и такъ явственно, что слышенъ былъ хрипъ и дрожаніе остраго язычка, а желаніе Кати и желаніе, требованіе, чтобы она во что-бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловѣческое счастье, охватило такъ неистово, что Митя, къ крайнему удивленію Соньки, порывисто вскочилъ и большими шагами зашагалъ прочь.

Вмѣстѣ съ этимъ неистовымъ желаніемъ, требованіемъ счастья, подъ этотъ гулкій голосъ, внезапно раздавшійся съ такой страшной явственностью надъ самой его головой въ ельникѣ и какъ будто до дна разверзшій лоно всего этого весенняго міра, онъ вдругъ вообразилъ, что письма не будетъ и не можетъ быть, что въ Москвѣ что-то случилось или вотъ-вотъ случится, и что онъ погибъ, пропалъ!

Въ домѣ онъ на минуту остановился передъ зеркаломъ въ залѣ. «Она права, — подумалъ онъ, — глаза у меня, если и не византійскіе, то, во всякомъ случаѣ, сумасшедшіе. А эта худоба, грубая и костливая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волосъ, дѣйствительно почти лошадиныхъ, какъ сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топотъ босыхъ ногъ. Онъ смутился, обернулся:

— Вѣрно, влюбились, все въ зеркало смотрите, — съ ласковой шутливостью сказала Параша, пробѣгая мимо съ кипящимъ самоваромъ въ рукахъ на балконъ.

— Васъ мама искали, — прибавила она, съ размаху ставя самоваръ на убранный къ чаю столъ и обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Всѣ знаютъ, всѣ догадываются!» — подумалъ Митя и черезъ силу спросилъ:

— А гдѣ она?

— У себя въ комнатѣ.

Солнце, обойдя домъ и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало подъ сосны и пихты, своими хвойными вѣтвями осѣнявшія балконъ. Кусты бересклета подъ ними блестяли тоже совсѣмъ по лѣтнему, стеклянно. Столъ, покрытый легкой тѣнью и кое-гдѣ жаркими пятнами свѣта, сіялъ скатертью. Осы вились надъ корзиночкой съ бѣлымъ хлѣбомъ, надъ граненой вазой съ вареньемъ, надъ чашками. И вся эта картина говорила о прекрасномъ деревенскомъ лѣтѣ и о томъ,

какъ можно было бы быть счастливымъ, беззаботнымъ. Чтобы предупредить выходъ мамы, которая, конечно, не менѣе другихъ понимаетъ его положеніе, и чтобы показать, что у него вовсе нѣтъ никакихъ тяжелыхъ тайнъ на душѣ, Митя пошелъ изъ зала въ коридоръ, въ который выходили двери его комнаты, маминной и двухъ другихъ, гдѣ лѣтомъ жили Аня и Костя. Въ коридорѣ было сумрачно, въ комнатѣ Ольги Петровны синевато. Вся комната была тѣсно и уютно загромождена наиболѣе старинной мебелью, имѣвшей въ домѣ: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, передъ которой, какъ обыкновенно, горѣла лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религіозности. За открытыми окнами, на запусенномъ цвѣтникѣ передъ входомъ въ главную аллею, лежала широкая тѣнь, за тѣнью празднично зеленѣлъ и бѣлѣлъ въ упоръ освѣщенный садъ. Не глядя на весь этотъ давно привычный видъ, опустивъ глаза въ очкахъ на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалѣтняя женщина, сидѣла у окна въ креслѣ и быстро ковыряла крючкомъ.

— Ты спрашивала меня, мама? — сказалъ Митя, входя и останавливаясь у порога.

— Да нѣтъ, я просто хотѣла тебя видѣть. Я вѣдь теперь почти никогда, кромѣ обѣда, не вижу тебя, — отвѣтила Ольга Петровна, не прерывая работы и какъ-то особенно, не въ мѣру спокойно.

Митя вспомнилъ, какъ девятаго марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнилъ тайное очаровательное значеніе, которое, несомнѣнно, было въ ея словахъ. . . Онъ неловко побормоталъ:

— Но ты, можетъ, хотѣла что-нибудь сказать мнѣ?

— Ничего, кромѣ того, что мнѣ кажется, что ты что-то заскучалъ послѣдніе дни, — сказала Ольга Петровна. — Можетъ, проѣхался бы куда-нибудь... къ Мещерскимъ, напримѣръ... Полонъ домъ невѣсть, — прибавила она, улыбаясь, — и вообще, по моему, очень милая и радушная семья.

— Какъ-нибудь на-дняхъ съ удовольствіемъ съѣзжу, — съ трудомъ отвѣтилъ Митя. — Но пойдёмъ чай пить, тамъ такъ хорошо на балконѣ... Тамъ и поговоримъ, — сказалъ онъ, отлично зная, что мама, по своему проницательному уму и по своей сдержанности, не будетъ больше возвращаться къ этому бесполезному разговору.

На балконѣ они просидѣли почти до заката. Мама послѣ чая продолжала вязать и говорить о сосѣдяхъ, о хозяйствѣ, объ Анѣ и Костѣ, — у Ани опять передержка въ августѣ! Митя слушалъ, порою отвѣчалъ, но все время испытывалъ нѣчто подобное тому, что онъ испытывалъ передъ отъѣздомъ изъ Москвы, — что опять онъ какъ будто пьянъ отъ какой-то тяжелой болѣзни.

А вечеромъ онъ часа два безостановочно шагаль по дому взадъ и впередъ, насквозь проходя залъ, гостиную, диванную и библіотеку, вплоть до ея южнаго окна, открытаго въ садъ. Въ окна зала и гостиной мягко краснѣлъ межъ вѣтвями сосенъ и пихтъ закатъ, слышались голоса и смѣхъ работниковъ, собиравшихся къ ужину возлѣ людской. Въ пролетѣ комнатъ, въ окно библіотеки, глядѣла ровная и безцвѣтная синева вечерняго неба съ неподвижной розовой звѣздой надъ ней; на фонѣ этой синевы картинно рисовалась зеленая вершина клена и бѣлизна, какъ-бы зимняя, всего

того, что цвѣло въ саду. А онъ шагаль и шагаль, уже совсѣмъ не заботясь о томъ, какъ будетъ это истолковано въ домѣ. Зубы его были стиснуты до боли въ головѣ.

XVI

Въ этотъ день Митина любовь претерпѣла жестокой переломъ.

Съ этого дня онъ пересталъ слѣдить за всѣми тѣми перемѣнами, что совершало вокругъ него наступающее лѣто. Онъ видѣлъ и даже чувствовалъ ихъ, эти перемѣны, но онѣ потеряли для него свою самостоятельную цѣнность, онъ наслаждался ими только мучительно: чѣмъ было лучше, тѣмъ мучительнѣе было ему. Катя стала уже истиннымъ наводненіемъ; Катя была теперь во всемъ и за всѣмъ уже до нелѣпости, а такъ какъ всякій новый день все страшнѣе подтверждалъ, что она для него, для Мити, уже почти не существуетъ, что она уже въ чьей-то чужой власти, что она совершаетъ нѣчто чудовищное, — отдаетъ кому-то другому себя и свою любовь, всецѣло долженствующую принадлежать только ему, Митѣ, — то и все въ мірѣ сдѣлалось не тѣмъ, что надо, стало казаться ненужнымъ, мучительнымъ и тѣмъ болѣе ненужнымъ и мучительнымъ, чѣмъ болѣе оно было прекрасно.

По ночамъ онъ почти не спалъ. Прелесть этихъ лунныхъ ночей была несравненна. Тихо, тихо стоялъ ночной млечный садъ. Осторожно, изнемогая отъ нѣги, пѣли ночные соловьи, состязаясь другъ съ другомъ въ сладости и тонкости пѣсенъ, въ ихъ чистотѣ, тщатель-

ности, звучности. И тихая, нѣжная, совсѣмъ блѣдная луна низко стояла надъ садомъ, и неизмѣнно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватыхъ облаковъ. Митя спалъ съ незавѣшенными окнами, и садъ и луна всю ночь смотрѣли въ нихъ. И всякій разъ, какъ онъ открывалъ глаза и взглядывалъ на луну, онъ тотчасъ же мысленно произносилъ, какъ одержимый: «Катя!» — и съ такимъ восторгомъ, съ такой болью, что ему самому становилось дико: чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, могла напомнить ему Катю луна, а вѣдь напомнила-же, напомнила чѣмъ-то и, что всего удивительнѣе, даже чѣмъ-то зрительнымъ! А порою онъ просто ничего не видѣлъ: желаніе Кати, воспоминанія о томъ, что было между ними въ Москвѣ, охватывали его съ такой силой, что онъ весь дрожалъ лихорадочной дрожью, стучалъ зубами и молилъ Бога — и, увы, всегда напрасно! — увидать ее вмѣстѣ съ собой, вотъ на этой постели, хоть во снѣ. Однажды зимой онъ былъ съ ней въ Большомъ театрѣ на «Фаустѣ» съ Собиновымъ и Шаляпинымъ. Почему-то въ этотъ вечеръ все казалось ему особенно восхитительнымъ: и свѣтлая, уже знойная и душистая отъ многолюдства бездна, зіявшая подъ ними, и красно-бархатные, съ золотомъ, этажи ложъ, переполненные блестящими рядами, и жемчужное сіяніе надъ этой бездной гигантской люстры, и льющіеся далеко внизу подъ маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящіе, дьявольскіе, то бесконечно нѣжные и грустные: «Жиль, былъ въ Оулѣ добрый король...». Проводивъ послѣ этого спектакля, по крѣпкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засидѣлся у нея, особенно изнемогъ отъ поцѣлуевъ и унесъ съ собой шел-

ковую ленту, которой Катя завязывала себѣ на ночь косу. Теперь, въ эти мучительныя майскія ночи, онъ дошелъ до того, что не могъ думать безъ содраганія даже объ этой лентѣ, лежавшей въ его письменномъ столѣ.

А днемъ онъ спалъ, потомъ уѣзжалъ верхомъ въ то село, гдѣ была желѣзнодорожная станція и почта. Дни продолжали стоять погожіе. Перепадали дожди, пробѣгали грозы и ливни, и опять сіяло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спѣшную работу въ садахъ, поляхъ и лѣсахъ. Садъ отцвѣталъ, осыпался, но зато продолжалъ буйно густѣть и темнѣть. Лѣса тонули уже въ несмѣтныхъ цвѣтахъ, въ высокиихъ травахъ, и звучная глубина ихъ немолчно звала въ свои зеленыя нѣдра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей — ихъ сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлѣбовъ. И Митя по цѣлымъ днямъ пропадалъ въ этихъ лѣсахъ и поляхъ.

Слишкомъ стыдно стало ему торчать каждое утро на балконѣ или среди двора въ безплодномъ ожиданіи пріѣзда съ почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работниковъ ѣздить за восемь верстъ за пустяками. И вотъ онъ сталъ ѣздить на почту самъ. Но и самъ онъ неизмѣнно возвращался домой съ однимъ номеромъ орловской газеты или письмомъ Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайняго предѣла. Поля и лѣса, по которымъ ѣхалъ онъ, такъ подавляли его своей красотой, своимъ счастьемъ, что онъ сталъ чувствовать гдѣ-то въ груди боль даже физическую.

Разъ, передъ вечеромъ, онъ ѣхалъ съ почты черезъ пустую сосѣдскую усадьбу, стоявшую въ большомъ и

старомъ паркѣ, который сливался съ окружавшимъ его березовымъ лѣсомъ. Онъ ѣхалъ по табельному проспекту, какъ называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромныхъ черныхъ елей. Великолѣпно-мрачная, широкая, вся покрытая толстымъ слоемъ рыжей скользкой хвои, она вела къ старинному дому, стоявшему въ самомъ концѣ ея коридора, почти сходявшагося вдали. Красный, сухой и спокойный свѣтъ солнца, опускавшагося слѣва за паркомъ и лѣсомъ, наискось озарялъ между стволами низъ этого коридора, блестя по его хвойной золотистой настилкѣ. И такая зачарованная тишина царила кругомъ, — только одни соловьи гремѣли изъ конца въ конецъ парка, — такъ сладко пахло и елями, и жасминомъ, кусты котораго отовсюду обступали домъ, и такое великое — чье-то чужое, давнее — счастье почувствовалось Митѣ во всемъ этомъ и такъ страшно явственно вдругъ представилась ему на огромномъ ветхомъ балконѣ, среди кустовъ жасмина, Катя въ образѣ его молодой жены, что онъ самъ ощутилъ, какъ смертельная блѣдность стягиваетъ его лицо, и твердо сказалъ вслухъ, на всю аллею:

— Если черезъ недѣлю письма не будетъ, — застрѣлюсь!

XVII

На другой день онъ всталъ очень поздно. Послѣ обѣда онъ сидѣлъ на балконѣ, держалъ на колѣняхъ книгу, глядѣлъ на страницы, покрытыя печатью, и ту-по думалъ:

— Ъхать или нѣтъ на почту?

Было жарко, бѣлыя бабочки парами вились другъ за другомъ надъ горячей травой, надъ стеклянно блестящимъ бересклетомъ. Онъ слѣдилъ за бабочками, сдувалъ со щеки липнувшихъ мухъ и опять спрашивалъ себя:

— Ъхать или нѣтъ? Ъхать, или разомъ оборвать эти постыдныя поѣздки?

Изъ-подъ горы, въ воротахъ, показался верхомъ на жеребцѣ староста. Староста посмотрѣлъ на балконъ и поѣхалъ прямо на него. Подъѣхавъ, онъ остановилъ лошадь и сказалъ:

— Доброга утра. Все читаете?

И усмѣхнулся, оглянулся кругомъ:

— Мамаша спать? — спросилъ онъ негромко.

— Думаю, что спать, — отвѣтилъ Митя. — А что?

Староста помолчалъ и вдругъ серьезно сказалъ:

— Что-жь, барчукъ, книжка хороша, да на все время надо знать. Что-жь вы это монахомъ-то живете? Ай мало бабъ, дѣвокъ?

Митя не отозвался и опустилъ глаза на книгу.

— Ты гдѣ былъ? — спросилъ онъ, не глядя.

— Былъ на почтѣ, — сказалъ староста. — И, конечно, писемъ никакихъ тамъ нѣту, кромѣ одной газетки.

— Почему-же «конечно»?

— Потому, что, значить, еще пишутъ, не дописали, — отвѣтилъ староста грубо и насмѣшливо, обиженный тѣмъ, что Митя не поддержалъ его разговора. — Пожалуйста получить, — сказалъ онъ, протягивая Митѣ газетку, и, тронувъ лошадь, поѣхалъ прочь.

— Застрѣлюсь! — подумаль Митя твердо, глядя въ книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и самъ не могъ не понимать, что нельзя и вообразить себѣ ничего болѣе дикаго, какъ это: застрѣлиться, раздробить себѣ черепъ, сразу оборвать биеніе крѣпкаго молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослѣпнуть, исчезнуть изъ того неслезанно прекраснаго міра, который только теперь впервые весь открылся передъ нимъ, мгновенно и навѣки лишиться всякаго участія въ той самой жизни, гдѣ Катя и наступающее лѣто, гдѣ небо, облака, солнце, теплый вѣтеръ, хлѣба въ поляхъ, села, деревни, дѣвки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи въ старыхъ журналахъ, а гдѣ-то тамъ — Севастополь, Байдарскія ворота, сиреневыя знойныя горы въ сосновыхъ и буковыхъ лѣсахъ, ослѣпительно бѣлое, душное шоссе, сады Ливадіи и Алупки, раскаленный песокъ у сіяющаго моря, загорѣлыя дѣти, загорѣлыя купальщицы — и опять Катя, въ бѣломъ платьѣ, подъ бѣлымъ зонтикомъ, сидящая на галькѣ у самыхъ волнъ, слѣпящихъ своимъ блескомъ, вызывающихъ невольную улыбку безпричиннаго счастья. . .

Онъ это понималь, но что-же было ему дѣлать? Какъ и куда вырваться изъ того заколдованнаго круга, гдѣ было тѣмъ мучительнѣе, тѣмъ нестерпимѣе, чѣмъ было лучше? Именно это-то и было непосильно, — то самое счастье, которымъ подавляль его міръ и которому недоставало чего-то самага нужнаго.

Вотъ онъ просыпался утромъ, и первое, что ударило ему въ глаза, было радостное солнце, первое, что онъ слышалъ, былъ радостный, знакомый съ дѣтства трезвонъ деревенской церкви — тамъ, за росистымъ, полнымъ тѣни и блеска, птицъ и цвѣтовъ садомъ; радостны, милы были даже желтенькія обои на стѣнахъ, все тѣ же, что желтѣли и въ его дѣтствѣ. Но тотчасъ же, восторгомъ и ужасомъ, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ея молодостью, свѣжесть сада была ея свѣжестью, все то веселое, игривое, что было въ трезвонѣ колоколовъ, тоже играло красотой, изяществомъ ея образа, дѣдовскія обои требовали, чтобы она раздѣлила съ Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, въ которой жили и умирали здѣсь, въ этой усадьбѣ, въ этомъ домѣ, его отцы и дѣды. И Митя отбрасывалъ прочь одѣяло, вскакивалъ съ постели въ одной рубашкѣ, съ раскрытымъ воротомъ, длинноногій, худой, но все-же крѣпкій, молодой теплый со сна, быстро выдвигалъ ящикъ письменнаго стола, хваталъ завѣтную фотографическую карточку и впадалъ почти въ столбнякъ, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грація, все то неизъяснимое, сіяющее и зовущее, что есть въ дѣвичьемъ, женскомъ, существующемъ въ мірѣ, все было въ этой немного змѣиной головкѣ, въ ея прическѣ, въ ея чуть вызывающемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ невинномъ взорѣ! Но загадочно и съ несокрушимымъ веселымъ безмолвіемъ сіялъ этотъ взоръ — и гдѣ было взять силъ перенести его, такой близкій и такой далекій, а теперь, можетъ быть, даже и навѣки чужой, открывшій такое несказанное счастье жить и такъ безстыдно и страшно обманувшій?

Такъ начинался для Мити почти каждый день и въ такомъ же мученіи, все въ однихъ и тѣхъ-же мысляхъ, все въ однихъ и тѣхъ-же душу раздирающихъ, дико противоположныхъ чувствахъ, и протекалъ онъ весь.

Въ тотъ вечеръ, когда онъ ѣхалъ съ почты черезъ Шаховское, черезъ эту старинную пустую усадьбу съ черной еловой аллеей, онъ очень точно выразилъ своимъ неожиданнымъ даже для самого себя восклицаніемъ то крайнее изнеможеніе, котораго онъ достигъ. Стоя подъ окномъ почты, глядя съ сѣдла, какъ почтарь напрасно роется въ кучѣ газетъ и писемъ, онъ услышалъ сзади себя шумъ подходящаго къ станціи поѣзда, и этотъ шумъ и запахъ паровознаго дыма потрясъ его счастьемъ воспоминанія о Курскомъ вокзалѣ и вообще о Москвѣ. Бѣдучи по селу съ почты, въ каждой идущей впереди дѣвкѣ небольшого роста, въ движеніи ея бедра онъ съ испугомъ ловилъ что-то Катина. Въ полѣ онъ встрѣтилъ чью-то тройку, — въ тарантасѣ, которую шибко несла она, мелькнули двѣ шляпки, одна дѣвичья, и онъ чуть не вскрикнулъ: Катя! Бѣлые цвѣты на межѣ мгновенно связывались въ немъ съ мыслью объ ея бѣлыхъ перчаткахъ, синія медвѣжьи ушки — съ цвѣтомъ ея вуали. . . А когда онъ, при заходящемъ солнцѣ, вѣзжалъ въ Шаховское, сухой и сладкій запахъ елей и роскошный бѣлый запахъ жасмина дали ему такое острое чувство лѣта и чьей-то старинной лѣтней жизни въ этой богатой и прекрасной усадьбѣ, что, взглянувъ на красно-золотой вечерній свѣтъ въ аллеѣ, на домъ, стоявшій въ ея глубинѣ, въ вечерѣющей тѣни, онъ вдругъ увидѣлъ Катю, сходящую, во всемъ расцвѣтѣ женской прелести, съ балкона

въ садъ, почти совершенно такъ же явственно, какъ видѣлъ домъ и жасминъ. Уже давно утерялъ онъ жизненное представленіе о ней и уже являлась она ему съ каждымъ днемъ все необычнѣе, все преображеннѣе, — въ этотъ же вечеръ ея преобразеніе достигло такой силы, такой торжествующей побѣдности, что Митя ужаснулся еще болѣе, чѣмъ въ тотъ полдень, когда внезапно закуковала надъ нимъ кукушка.

XIX

И онъ пересталъ ѣздить на почту, заставилъ себя оборвать эти поѣздки отчаяннымъ, крайнимъ усиленіемъ воли. Пересталъ и самъ писать. Вѣдь все уже было испробовано, все написано: и неистовыя увѣренія въ своей любви, такой, какой еще не бывало на землѣ, и унижительныя мольбы объ ея любви или хотя бы о «дружбѣ», и безсовѣстныя выдумки, что онъ боленъ, что онъ пишетъ, лежа въ постели, — съ цѣлью вызвать къ себѣ хоть жалость, хоть какое нибудь вниманіе, — и даже угрожающіе намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своихъ «болѣе счастливыхъ соперниковъ» отъ своего присутствія на землѣ. И, переставъ писать и домогаться отвѣта, всѣми силами заставляя себя не ждать ничего (а все таки втайнѣ надѣясь, что письмо придетъ именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушнымъ, или когда въ самомъ дѣлѣ добьешься равнодушія), всячески стараясь не думать о Катѣ, всячески ища спасенія отъ нея, онъ опять сталъ ходить на дерев-

ню, сидѣть въ избахъ, читать что подъ руку попадетъ, ѣздить со старостой по хозяйственнымъ дѣламъ въ сосѣднія села и внутренно безъ устали твердить себѣ: все равно, пусть будетъ что будетъ!

И вотъ, однажды возвращались они со старостой съ хутора, ѣхали на бѣгункахъ и, какъ всегда, шибко. Оба сидѣли верхомъ, староста впереди, — онъ правилъ, — а Митя сзади, и оба подскакивали отъ толчковъ, особенно Митя, который крѣпко держался за подушку и глядѣлъ то въ красный затылокъ старосты, то на прыгающія передъ глазами поля. Подъѣзжая къ дому, староста опустилъ вожжи, поѣхалъ шагомъ, сталъ вертѣть цигарку и, ухмыляясь въ развернутый кисетъ, сказалъ:

— Вотъ вы тогда, барчукъ, обидѣлись на меня, а понапрасну. Развѣ я не правду вамъ говорилъ? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянкахъ, да вѣдь она не уйдетъ, на все время надо знать.

Митя вспыхнулъ и неожиданно для самого себя отвѣтилъ съ притворной простотой и неловкой усмѣшкой:

— Да никого что то нѣту на примѣтѣ. . .

— Какъ такъ? — сказалъ староста. — Сколько бабъ, дѣвокъ!

— Дѣвки только манятъ, — отвѣтилъ Митя, стараясь говорить въ тонъ старостѣ. — На дѣвокъ надежда плохая.

— Не манятъ, а обращенья вы не знаете, — сказалъ староста уже наставительно. — И опять же скупитесь. А сухая ложка ротъ дереть.

«Вполнѣ идиотъ!» — мелькнуло въ головѣ Мити, но онъ еще разъ поддержалъ тонъ:

— Ничего бы я не сталъ скупиться, будь дѣло путное и вѣрное. . .

— А не станете, все и будетъ въ лучшемъ видѣ, — сказалъ староста, закуривая, и продолжалъ какъ бы нѣсколько обиженно: — Мнѣ не цѣлковый, не подарокъ вашъ дорогъ, а мнѣ хочется удовольствіе вамъ сдѣлать. Гляну, гляну: скучаетъ барчукъ! Нѣтъ, думаю, этого дѣла нельзя такъ оставить. Я своихъ господъ завсегда беру въ расчетъ. Я вотъ у васъ второй годъ живу, а ни отъ васъ, ни отъ барыни, слава Богу, плохого слова не слыхалъ. Другимъ, къ примѣру, что барская скотина? Сыта — хорошо, нѣтъ — чортъ съ ней. А у меня того нѣтъ. Мнѣ скотина дороже всего. Я и ребятамъ говорю: мнѣ какъ хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже сталъ думать, что староста выпивши, но староста вдругъ бросилъ обиженно-задушевный тонъ и сказалъ, вопросительно взглянувъ на Митю черезъ плечо:

— Да вотъ чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, мужъ на шахтахъ. . . Только и ей, конечно, надо какойнибудь пустякъ сунуть. Ну, истратите, скажемъ, на все про все пятерку. Цѣлковый, скажемъ, ей на угощенье, два — на руки. Ну, мнѣ на табачишко скольконибудь. . .

— За этимъ дѣло не станетъ, — отвѣтилъ Митя, опять противъ воли. — Только про какую Аленку ты говоришь?

— Понятно, про лѣсникову, — сказалъ староста. — Да ай вы ее не знаете? Невѣстка новаго лѣсника. Вы ее, думается, въ прошлое воскресенье въ церкви видѣли. . . Я тогда прямо же подумалъ: вотъ бы нашему

барчуку въ самый разъ! Всего второй годъ замужемъ, ходить чисто. . .

— Ну и что-же, — отвѣтила Митя, усмѣхаясь, — ну вотъ и устрой.

— Тогда я, значить, буду стараться, — сказала староста, берясь за вожжи. — Я, значить, на дняхъ попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у насъ съ дѣвками валъ въ саду опрaвлять будетъ, вотъ вы и приходите въ садъ. . . А книжка эта никогда не уйдетъ, авось еще въ Москвѣ начитаетесь. . .

И тронулъ лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крѣпко держался за подушку и, стараясь не глядѣть на красную толстую шею старосты, смотрѣлъ вдаль, черезъ деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скатѣ къ рѣкѣ, къ рѣчнымъ лугамъ. Что-то дико неожиданное, нелѣпое и вмѣстѣ съ тѣмъ такое, отчего по всему тѣлу проходило знобящее томленіе, было уже наполовину сдѣлано. И уже какъ-то по-иному, чѣмъ прежде, торчала передъ нимъ изъ-за вершинъ сада и блестяла крестомъ въ предвечернемъ солнцѣ съ дѣтства знакомая колокольня.

XX

Дѣвки за худобу звали Митю борзымъ, онъ былъ изъ той породы людей съ черными, какъ бы постоянно расширенными глазами, у которыхъ почти не растутъ даже въ зрѣлые годы ни усы, ни борода, — курчавится только нѣчто рѣдкое и жесткое. Однако на другой день послѣ разговора со старостой онъ съ утра побрил-

ся и надѣлъ желтую шелковую рубашку, странно и красиво освѣтившую его изможденное и какъ бы вдохновенное лицо.

Въ одиннадцатомъ часу онъ медленно, стараясь придать себѣ немного скучающій, отъ нечего дѣлать гуляющій видъ, пошелъ въ садъ.

Вышелъ онъ съ главнаго крыльца, обращеннаго на сѣверъ. На сѣверѣ, надъ крышами каретнаго сарая и скотнаго двора и надъ той частью сада, изъ-за которой всегда глядѣла колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, въ воздухѣ парило и пахло изъ трубы людской. Митя повернулъ за домъ и направился къ липовой аллеѣ, глядя на вершины сада и на небо. Изъ подъ неопредѣленныхъ тучъ, заходящихъ за садомъ, съ юго-востока, дуло слабымъ горячимъ вѣтромъ. Птицы не пѣли и даже соловьи молчали. Однѣ пчелы во множествѣ беззвучно неслись черезъ садъ со взятки.

Дѣвки, поправляя валъ, работали опять возлѣ ельника, задѣлывали въ валу протоптанные скотиной лазы, заваливали ихъ землей и парнымъ, пріятно-вонючимъ навозомъ, который работники отъ времени до времени подвозили со скотнаго двора черезъ аллею, — аллея вся была усѣяна влажными и блестящими шмотами. Дѣвокъ было штукъ шесть. Соньки уже не было, — ее таки просватали и теперь она сидѣла дома, кое-что готовя къ свадьбѣ. Было нѣсколько совсѣмъ еще жиденькихъ дѣвчонокъ, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая какъ будто еще суровѣе и мужественнѣе, — и Аленка. И Митя сразу увидѣлъ ее среди деревьевъ, сразу понялъ, что это она, хотя прежде никогда не видалъ ее, и его, какъ молнія,

поразило неожиданно и рѣзко ударившее ему въ глаза что-то общее, что было, — или только почудилось ему, — въ Аленькѣ съ Катей. Это было такъ удивительно, что онъ даже пріостановился, на мигъ оторопѣвъ. Потомъ рѣшительно пошелъ прямо на нее, не спуская съ нея глазъ.

Она была тоже не велика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была въ хорошенькой (бѣлой съ красными крапинками) ситцевой кофтѣ, подпоясанной чернымъ лакированнымъ поясомъ, въ такой же юбкѣ, въ розовомъ шелковомъ платочкѣ, въ красныхъ шерстяныхъ чулкахъ и въ черныхъ мягкихъ чуняхъ, въ которыхъ (или, вѣрнѣе, во всей ея маленькой легкой ногѣ) было опять таки что-то Катино, то есть женское, смѣшанное съ чѣмъ-то дѣтскимъ. И головка у нея была невелика и темные глаза стояли и сіяли почти такъ же, какъ у Кати. Когда Митя подходилъ, она одна не работала, какъ бы чувствуя свою нѣкую особенность среди прочихъ, стояла на валу, поставивъ правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежалъ подъ яблоней на своемъ пиджакѣ съ рваной подкладкой и курилъ. Митя подошелъ — онъ вѣжливо подвинулся на траву, давая ему мѣсто на пиджакѣ.

— Садитесь, Митрій Палычъ, закурите, — сказалъ онъ дружески и небрежно.

Митя бѣгло, исподтишка глянулъ на Аленьку, — очень хорошо освѣщаль ея лицо ея розовый платочекъ, — сълъ и, опустивъ глаза, сталъ закуривать (онъ много разъ за зиму и весну бросалъ курить, теперь опять закурить). Аленька даже не поклонилась ему, какъ будто и не замѣтила его. Староста продолжалъ говорить

ей что-то, чего Митя не понималъ, не зная начала разговора. Она смѣялась, но какъ-то такъ, точно ни умъ, ни сердце ея не участвовали въ этомъ смѣхѣ. Въ каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмѣшливо вставлялъ похабные намеки. Она отвѣчала ему легко и тоже насмѣшливо, давая понять, что онъ въ какихъ-то своихъ намѣреніяхъ на кого-то вель себя глупо, черезчуръ нахрапомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и трусливо, боясь жены.

— Ну, да тебя не перебрешешь, — сказалъ наконецъ староста, прекращая споръ, яко бы въ виду его надобнейшей бесполезности. — Ты лучше иди посиди съ нами. Баринъ тебѣ хочуть слово сказать.

Аленка повела глазомъ куда-то въ сторону, подоткнула на височкахъ темныя колечки волосъ и не двинулась съ мѣста.

— Иди, говорю, дура! — сказалъ староста.

И, подумавъ мгновенье, Аленка вдругъ легко соскочила съ вала, подбѣжала и на корточкахъ присѣла въ двухъ шагахъ отъ лежавшаго на пиджакъ Мити, весело и любопытно смотря въ лицо ему темными расширенными глазами. Потомъ засмѣялась и спросила:

— А правда, вы, барчукъ, съ бабами не живете? Какъ дьячокъ какой?

— А ты почему знаешь, что не живутъ? — спросилъ староста.

— Да ужъ знаю, — сказала Аленка. — Слышала. Нѣтъ, они не могутъ. У нихъ въ Москвѣ есть, — вдругъ заигравъ глазами, сказала она.

— Подходящихъ для нихъ нѣту, вотъ и не живутъ, — отвѣтилъ староста. — Много ты понимаешь въ ихъ дѣлѣ!

— Какъ нѣту? — сказала Аленька, смѣясь. — Сколько бабъ, дѣвокъ! Вонъ Анютка, — чего лучше? Анюткѣ, поди сюда, дѣло есть! — крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая въ спинѣ, короткорукая, обернулась, — лицо у нея было очень миловидное, улыбка очень добрая и пріятная, — что-то крикнула въ отвѣтъ пѣвучимъ голосомъ и заработала еще пуще.

— Говорять тебѣ, поди! — еще звончѣй повторила Аленка.

— Нечего мнѣ ходить, не заучена я этимъ дѣламъ, — пропѣла Анютка радостно.

— Намъ Анютка не нужна, намъ надо почище, по-благороднѣе, — наставительно сказалъ староста. — Мы сами знаемъ, кого намъ надо.

И очень выразительно посмотрѣлъ на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснѣла.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, — отвѣтила она, скрывая смущеніе улыбкой, — лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, — Настьку, она тоже чисто ходитъ, въ городѣ жила. . .

— Ну будетъ, молчи, — неожиданно грубо сказалъ староста. — Занимайся своимъ дѣломъ, побрехала и будетъ. Меня и такъ барыня ругаютъ, говорятъ, онѣ у тебя только ахальничаютъ. . .

Аленка вскочила — и опять съ необыкновенной легкостью — и взялась за вилы. Но работникъ, свалившій въ это время послѣднюю тельгу навоза, крикнулъ: «завтракать!» — и, задержавъ вожжами, бойко загремѣлъ внизъ по аллеѣ пустымъ тельжнымъ ящикомъ.

— Завтракать, завтракать! — на разные голоса закричали и дѣвки, бросая лопаты и вилы, перескакивая

черезъ валъ, соскакивая съ него, мелькая голыми ногами и разноцвѣтными чулками и сбѣгаясь подъ ельникъ къ своимъ узелкамъ.

Староста покосился на Мигю, подмигнувъ ему, желая сказать, что дѣло идетъ, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

— Ну, завтракать, такъ завтракать. . .

Дѣвки, пестрѣя подъ темной стѣнной елокъ, весело и какъ попало разсѣлись на травѣ, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать ихъ на подолы между прямо лежащихъ ногъ, стали жевать, запивая изъ бутылокъ кто молокомъ, кто квасомъ и продолжая громко и безпорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь къ Анюткѣ, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержавъ очаровательной улыбки, съ страшной силой оттолкнула ее (Аленка, давясь смѣхомъ, повалилась головой къ себѣ на колѣни) и съ притворнымъ возмущеніемъ крикнула на весь ельникъ своимъ пѣвучимъ голосомъ:

— Дура! Чего гогочешь безъ дѣла? Какая радость?

— Пойдемте отъ грѣха, Митрій Палычъ, — сказалъ староста, — ишь, ихъ черти разбирають!

XXI

На другой день въ саду не работали, былъ праздникъ, воскресенье.

Ночью лилъ дождь, мокро шумѣло по крышѣ, садъ то и дѣло блѣдно, но широко, сказочно озарялся. Къ

утру однако погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудилъ веселый, солнечный трезвонъ колоколовъ.

Онъ не спѣша умылся, одѣлся, выпилъ стаканъ чаю и пошелъ къ обѣднѣ. «Мама ужъ ушла, ласково упрекнула его Параша, а вы какъ татаринъ какой. . .»

Въ церковь можно было пройти или по выгону, выйдя изъ воротъ усадьбы и свернувъ направо, или черезъ садъ, по главной аллеѣ, а потомъ по дорогѣ между садомъ и гумномъ, налѣво. Митя пошелъ черезъ садъ.

Все было уже совсѣмъ по лѣтнему. Митя шелъ по аллеѣ прямо на солнце, сухо блестящее на гумнѣ и въ полѣ. И этотъ блескъ и трезвонъ колоколовъ, какъ-то очень хорошо и мирно сливавшійся съ нимъ и вообще со всѣмъ этимъ деревенскимъ утромъ, и то, что Митя только что вымылся, причесалъ свои мокрые, глянце-витые черные волосы и надѣлъ студенческой картузъ, — все вдругъ показалось такъ хорошо, что Митю, опять не спавшаго всю ночь и опять прошедшаго ночью черезъ множество самыхъ разнородныхъ мыслей и чувствъ, вдругъ охватила надежда на какое-то счастливое разрѣшеніе всѣхъ его терзаній, на спасеніе, освобожденіе отъ нихъ. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестяло, дятель, пріостанавливаясь, приподнимая хохолокъ, быстро бѣжалъ вверхъ по корявому стволу липы въ ея свѣтло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались въ цвѣты на полянахъ, на припекѣ, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно. . . Все было, какъ бывало много, много разъ въ дѣтствѣ, въ отрочествѣ, и такъ живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдругъ явилась увѣ-

ренность, что Богъ милостивъ, что, можетъ быть, можно прожить на свѣтѣ и безъ Кати.

— Въ самомъ дѣлѣ, поѣду къ Мещерскимъ, — подумалъ вдругъ Митя.

Но тутъ онъ поднялъ глаза — и въ двадцати шагахъ отъ себя увидалъ какъ разъ въ этотъ моментъ проходившую мимо воротъ Аленку. Она опять была въ шелковомъ розовомъ платочкѣ, въ голубомъ нарядномъ платьѣ съ оборками, въ новыхъ башмакахъ съ подковками. Она, виляя задомъ, быстро шла, не видя его, и онъ порывисто подался въ сторону, за деревья.

Давъ ей скрыться, онъ, съ бьющимся сердцемъ, поспѣшно пошелъ назадъ, къ дому. Онъ вдругъ понялъ, что пошелъ въ церковь съ тайной цѣлью увидѣть ее, и то, что видѣть ее въ церкви нельзя, не надо.

XXII

Во время обѣда нарочный со станціи привезъ телеграмму — Аня и Костя извѣщали, что будутъ завтра, вечеромъ. Митя отнесся къ этому совершенно равнодушно.

Послѣ обѣда онъ навзничъ лежалъ на плетеномъ диванѣ на балконѣ, закрывъ глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая лѣтнее жужжанье мухъ. Сердце дрожало, въ головѣ стоялъ неразрѣшимый вопросъ: а какъ же дальше дѣло съ Аленкой? Когда же оно рѣшится окончательно? Почему староста

не спросилъ ее вчера прямо: согласна ли она и, если да, то гдѣ и когда? А рядомъ съ этимъ мучилъ другой вопросъ: слѣдуетъ или нѣтъ нарушить свое твердое рѣшеніе не ѣздить больше на почту? Не съѣздить-ли нынче еще разъ, послѣдній? Новое и бессмысленное издѣвательство надъ своимъ собственнымъ самолюбіемъ? Новое и бессмысленное терзаніе себя жалкой надеждой? Но что можетъ теперь прибавить эта поѣздка (въ сущности, простая прогулка) къ его терзаніямъ? Развѣ теперь не совершенно очевидно, что тамъ, въ Москвѣ, для него все и на-вѣки кончено? Что ему вообще теперь терять?

— Барчукъ! — раздался вдругъ негромкій голосъ возлѣ балкона. — Барчукъ, вы спите?

Онъ быстро открылъ глаза. Передъ нимъ стоялъ староста въ новой ситцевой рубахѣ, въ новомъ картузѣ. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмѣльное.

— Барчукъ, ѣдьте скорѣй въ лѣсъ, — зашептала онъ. — Я барынѣ сказала, что мнѣ нужно повидаться съ Трифономъ на счетъ пчель. Ѣдьте скорѣй, пока онъ почиваютъ, а то ну-ка проснугся и отдумаютъ. . . Захватимъ чего-нибудь угостить Трифона, онъ захмѣлѣетъ, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Алenkѣ. Что-жъ въ самомъ дѣлѣ тянуть: такъ, такъ такъ, а не такъ — къ чертямъ, и получше найдемъ. Выходите скорѣй, я ужъ запрегъ. . .

Митя вскочилъ, пробѣжалъ лакейскую, схватилъ картузъ и быстро пошелъ къ каретному сараю, гдѣ стоялъ запряженный въ бѣговыя дрожки молодой горячій жеребчикъ.

Жеребчикъ взялъ прямо-же съ мѣста и вихремъ вынесъ за ворота. Противъ церкви на минуту остановились возлѣ лавки, взяли фунтъ сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выѣздѣ, у которой стояла наряженная и не знавшая, что дѣлать, Анютка. Староста въ шутку, но грубо крикнулъ ей что-то и съ хмѣльнымъ, бессмысленнымъ и злымъ удалствомъ крѣпко передернулъ вожами, хлестнулъ ими по крупу жеребчика. Жеребчикъ еще наддалъ.

Митя, сидя и подсакивая, держался изо всѣхъ силъ. Въ затылокъ ему пріятно пекло, въ лицо тепло дуло полевымъ жаромъ, пахнувшимъ уже зацвѣтающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-сѣрой, точно какой-то чудесный мѣхъ, зыбью, надъ ней поминутно взвивались, пѣли, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синѣлъ лѣсъ. . .

Черезъ четверть часа были уже въ лѣсу и все также шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тѣнистой дорогѣ, радостной отъ солнечныхъ пятенъ и несмѣтныхъ цвѣтовъ въ густой и высокой травѣ по сторонамъ. Аленка, въ своемъ голубомъ платьѣ, прямо и ровно положивъ ноги въ полусапожкахъ, сидѣла въ распускающихся возлѣ караулки дубкахъ и вышивала что-то. Староста пролетѣлъ мимо нея, погрозивъ ей кнутомъ, и сразу осадилъ у порога. Митю поразилъ горькій и свѣжій ароматъ лѣса, молодой дубовой листвы, оглушилъ звонкій лай собаченокъ, округившихъ

дрожки и наполнившихъ весь лѣсъ откликами. Онѣ стояли и яростно заливались на всѣ лады, а мохнатая морды ихъ были добры и хвосты виляли.

Слѣзли, привязали жеребчика къ сухому, опаленному грозой деревцу подъ окнами и вошли черезъ темныя сѣни.

Въ караулкѣ было очень чисто, очень уютно и очень тѣсно, жарко и отъ солнца, свѣтившаго изъ-за лѣса въ оба ея окошечка, и оттого, что была натоплена печь, — утромъ пекли ситники. Ѳедосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на видъ старушка, сидѣла за столомъ, спиной къ солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидавъ барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сѣли и стали закуривать.

— А гдѣ-жь Трифонъ? — спросилъ староста.

— Отдыхаетъ въ клѣтѣ, — сказала Ѳедосья: — я сейчасъ пойду его покличу.

— Идетъ дѣло! — шепнулъ староста, моргнувъ обоими глазами, какъ только она вышла.

Но никакого дѣла Митя покуда не видѣлъ. Покуда было только нестерпимо неловко, — казалось, что Ѳедосья уже отлично понимаетъ, зачѣмъ они пріѣхали, — и вообще тяжело и тревожно. Опять мелькала ужасавшая уже третій день мысль: «Что я дѣлаю? Я съ ума схожу!» Онъ чувствовалъ себя лунатикомъ, покореннымъ чьей-то посторонней волей, все быстрѣе и быстрѣе идущимъ къ какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь имѣть простой и спокойный видъ, онъ сидѣлъ, курилъ, осматривалъ караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчасъ войдетъ Трифонъ, мужикъ, какъ говорятъ, злой, умный,

который сразу все пойметъ еще лучше Ѳедосьи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ была и другая мысль: «А гдѣ-же она спитъ? Вотъ на этихъ нарахъ или въ клѣти?» Конечно, въ клѣти, подумалъ онъ. Лѣтняя ночь въ лѣсу, окошечки въ клѣти безъ рамы, безъ стеколь, и всю ночь слышенъ дремотный лѣсной шопоть, а она спитъ. . .

XXIV

Трифонъ, войдя, тоже низко поклонился Митѣ, но молча, не взглянувъ ему въ глаза. Потомъ сѣлъ на скамейку перезъ столомъ и сухо и непріязненно заговорилъ со старостой: въ чемъ дѣло, зачѣмъ пожаловалъ? Староста поспѣшилъ сказать, что его прислала барыня, что она проситъ Трифона придти посмотрѣть пасѣку, что ихній пасѣчникъ старый, глухой дуракъ, а что онъ, Трифонъ, можетъ, первый пчеловодъ во всей губерніи по своему уму и понятію, — и немедля вытащилъ изъ одного кармана штановъ бутылку водки, а изъ другого сало въ шершавой сѣрой бумагѣ, уже насквозь промаслившейся. Трифонъ холодно и насмѣшливо покосился, однако поднялся съ мѣста и досталъ съ полки чайную чашку. Староста поднесъ сперва Митѣ, потомъ Трифону, потомъ Ѳедосьѣ, — она съ удовольствіемъ вытянула чашку до донышка, — и наконецъ налилъ себѣ. Выпивъ, онъ тотчасъ же сталъ обносить по второй, жуя ситникъ и раздувая ноздри.

Трифонъ довольно быстро захмѣлѣлъ, однако не потерялъ своей сухости и непріязненной насмѣшливости. Староста тяжело отупѣлъ послѣ второй же чашки. Раз-

говоръ принялъ по внѣшности характеръ дружескій, но глаза у обоихъ были недовѣрчивые, злобные. Федосья сидѣла молча, смотрѣла вѣжливо, но недовольно. Алёнка не показывалась. Потерявъ всякую надежду, что она придетъ, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта — разсчитывать теперь на то, что старость удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, — Митя поднялся и строго сказалъ, что пора ѣхать.

— Сейчасъ, сейчасъ, успѣется! — хмуро и нагло отозвался староста. — Мнѣ еще надо вамъ словечко по секрету сказать.

— Ну вотъ дорогой и скажешь, — сказалъ сдержанно, но еще строже Митя. — Ъдемъ.

Но староста хлопнулъ ладонью по столу и съ пьяной загадочностью повторилъ:

— А я вамъ говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мнѣ на минутку. . .

И, тяжело поднявшись съ мѣста, распахнулъ дверь въ сѣнцы.

Митя вышелъ за нимъ.

— Ну, въ чемъ дѣло?

— Молчите! — таинственно прошепталъ староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

— Объ чемъ молчать?

— Молчите!

— Я тебя не понимаю.

— Молчите! Наша будетъ! Вѣрное слово!

Митя оттолкнулъ его, вышелъ изъ сѣней и остановился на порогѣ, не зная, что дѣлать: подождать еще не много или ѣхать одному, а не то просто уйти пѣшкомъ?

Въ десяти шагахъ отъ него стоялъ густой зеленый лѣсъ, уже въ вечерней тѣни и оттого еще болѣе свѣжій, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь нихъ лучисто сыпалось его червонное золото. И вдругъ гулко раздался и прокатился въ глубинѣ лѣса, гдѣ-то, какъ показалось, далеко на той сторонѣ, за оврагами, женскій пѣвучій голосъ, и такъ призывно, такъ очаровательно, какъ звучитъ онъ только въ лѣсу, по лѣтней вечерней зарѣ.

— Ау! — протяжно крикнулъ этотъ голосъ, видимо, забавляясь лѣсными откликами. — Ау!

Митя соскочилъ съ порога и побѣжалъ по цвѣтамъ и травамъ въ лѣсъ. Лѣсъ спускался въ каменистый оврагъ. Въ оврагѣ стояла и ѣла баранчики Аленка. Митя надбѣжалъ надъ обрывъ и остановился. Она снизу глядѣла на него удивленными глазами.

— Что ты тутъ дѣлаешь? — спросилъ Митя негромко.

— Маруську нашу съ коровой ищу. А что? — отвѣтила она тоже негромко.

— Что жъ, придешь, что-ли?

— Что-жъ мнѣ даромъ ходить? — сказала она. — На поденщину, и то за деньги ходятъ.

— Кто-жъ тебѣ сказалъ, что даромъ? — спросилъ Митя уже почти шепотомъ. — Объ этомъ не безпокойся.

— А когда? — спросила Аленка.

— Да завтра. . . Ты когда можешь?

Аленька подумала.

— Я завтра пойду къ матери овцу стричь, — сказала она, помолчавъ, осторожно оглядывая лѣсъ на бугрѣ за Митей. — Вечеромъ, какъ стемнѣетъ, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдетъ кто-нибудь. . . Хоче-

те, въ салашъ въ лощинѣ у васъ въ саду? Только вы смотрите, не обманите, — даромъ я не согласна. . . Это вамъ не Москва, — сказала она, засмѣявшись глазами глядя на него снизу: — тамъ, говорятъ, бабы сами плотятъ. . .

XXV

Возвращались безобразно.

Трифонъ не остался въ долгу, поставилъ и съ своей стороны бутылку, и староста такъ напился, что несразу сѣлъ на дрожки, сперва упалъ на нихъ, а испуганный жеребчикъ рванулся и чуть не ускакалъ одинъ. Но Митя молчалъ, смотрѣлъ на старосту безчувственно, ждалъ, пока онъ усядется, терпѣливо. Староста опять гналъ съ нелѣпой яростью. Митя молчалъ, крѣпко держался, смотрѣлъ на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшія и прыгавшія передъ нимъ. Надъ полями къ закату допѣвали свои кроткія пѣсни жаворонки, на востокъ, уже посинѣвшемъ къ ночи, вспыхивали тѣ дальнія, мирныя зарницы, которыя ничего не обѣщаютъ, кромѣ хорошей погоды. Митя понималъ всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсѣмъ чужой ему. Въ мысляхъ, въ душѣ стояло одно: завтра вечеромъ!

Дома его ожидало извѣстіе, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будутъ завтра, съ вечернимъ поѣздомъ. Онъ ужаснулся, — пріѣдутъ, побѣгутъ вечеромъ въ садъ, могутъ побѣжать къ шалашу, въ лощину. . . Но тотчасъ же вспомнилъ, что со станціи ихъ привезутъ не раньше десятаго часа, потомъ будутъ кормить, пить чаемъ. . .

— Ты поѣдешь встрѣчать? — спросила Ольга Петровна.

Онъ почувствовалъ, что блѣднѣетъ.

— Нѣтъ, не думаю. . . Миѣ что-то не хочется. . . Да и сѣсть негдѣ. . .

— Ну, положимъ, ты бы могъ верхомъ поѣхать. . .

— Да нѣтъ, не знаю. . . Собственно, зачѣмъ? Сейчасъ по крайнѣй мѣрѣ не хочется. . .

Ольга Петровна пристально посмотрѣла на него.

— Ты здоровъ?

— Совершенно, — сказалъ Митя почти грубо. — Я только спать очень хочу. . .

И тотчасъ же ушелъ къ себѣ, легъ въ темнотѣ на диванъ и заснулъ, не раздѣваясь.

Ночью онъ услыхалъ отдаленную, медлительную музыку и увидалъ себя висящимъ надъ огромной, слабо освѣщенной пропастью. Она все свѣтлѣла и свѣтлѣла, становилась все бездоннѣе, все золотистѣй, все ярче, все многолюднѣе, радостнѣй — и уже совсѣмъ отчетливо, съ несказанной грустью и нѣжностью, зазвучало и запѣло въ ней: «Жиль, былъ въ Оулѣ добрый король». . . Онъ затрепеталъ отъ умиленія, повернулся на другой бокъ и опять заснулъ.

XXVI

День казался безконечнымъ.

Митя какъ деревянный выходилъ къ чаю, къ обѣду, потомъ опять шелъ къ себѣ и опять ложился, бралъ

съ письменнаго стола уже давно валявшійся на немъ томъ Писемскаго, читаль, не понимая ни слова, подолгу смотрѣлъ въ потолокъ, слушалъ ровный, лѣтній, атласный шумъ солнечнаго сада за окномъ. . . Разъ онъ всталъ и пошелъ въ библіотеку, чтобы перемѣнить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своимъ спокойствіемъ, видомъ изъ одного окна на завѣтный клень, а изъ другихъ на свѣтлое западное небо комната такъ остро напомнила ему тѣ весенніе (теперь ужъ безконечно далекіе) дни, когда онъ сидѣлъ въ ней, читая стихи въ старыхъ журналахъ, и показалась такой Катиной, что онъ повернулся и быстро пошелъ назадъ. «Къ чорту! — подумаль онъ съ раздраженіемъ. — Къ чорту весь этотъ поэтическій трагизмъ любви!»

Онъ съ возмущеніемъ вспомнилъ свое намѣреніе застрѣлиться, если не будетъ письма отъ Кати, и опять легъ и опять взялся за Писемскаго. Но по прежнему онъ ничего не понималь, читая, а порою, глядя въ книгу и думая объ Аленкѣ, весь начиналь дрожать отъ все растущей дрожи въ животѣ. И чѣмъ ближе подходилъ вечеръ, тѣмъ все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворѣ, — уже запрягали тарантасъ на станцію, — все раздавалось такъ, какъ во время болѣзни, когда лежишь одинъ, а вокругъ течетъ обычная будничная жизнь, равнодушная къ тебѣ и потому чуждая, даже враждебная. Наконецъ гдѣ-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» — послышалось сухое бормотаніе бубенчиковъ, потомъ топотъ копытъ, шорохъ подкатывающаго къ крыльцу тарантаса. . . «Ахъ, да когда же все это кончится!» — пробормоталь Митя внѣ себя отъ нетерпѣнія, не двигаясь, но жадно слушая голосъ Ольги Петровны, от-

дававшей въ лакейской послѣднія приказанія. Вдругъ бубенчики забормотали и, бормоча все слитнѣе подъ звуки покотившагося подъ гору экипажа, стали глхнуть. . .

Быстро вставъ съ мѣста, Митя вышелъ въ залъ. Въ залѣ было пусто и свѣтло отъ яснаго желтоватаго заката. Во всемъ домѣ было пусто и какъ-то странно, страшно пусто! Со страннымъ, какъ-бы прощальнымъ чувствомъ Митя взглянулъ въ пролетъ растворенныхъ молчаливыхъ комнатъ — въ гостиную, въ диванную, въ библіотеку, въ окно которой по вечернему синѣлъ южный небосклонъ, зеленѣла живописная вершина клена и розовой точкой стоялъ надъ ней Антаресь. . . Потомъ заглянулъ въ лакейскую, нѣтъ ли тамъ Параша. Убѣдившись, что и тамъ пусто, онъ схватилъ съ вѣшалки картузь, пробѣжалъ назадъ, въ свою комнату, и выскочилъ въ окно, далеко выкинувъ на цвѣтникъ свои длинные ноги. На цвѣтникѣ онъ на мгновеніе замеръ, потомъ, согнувшись, перебѣжалъ въ садъ и тотчасъ же вильнулъ въ глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акаціи и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечерняго сада. Но Митѣ, при всей безсознательности всѣхъ его дѣйствій въ этотъ вечеръ, все же показалось, что онъ еще никогда въ жизни, — за исключеніемъ, можетъ быть, ранняго дѣтства, — не встрѣчалъ такой силы и такого разнообразія запаховъ,

какъ теперь. Все пахло — кусты акаціи, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльникъ, цвѣты, трава, земля. . .

Быстро сдѣлавъ нѣсколько шаговъ съ жуткой мыслью: «а вдругъ она обманетъ, не придетъ?» — теперь казалось, что вся жизнь зависитъ отъ того, придетъ или не придетъ Алленка, — уловивъ среди запаховъ растительности еще и запахъ вечерняго дыма откуда-то съ деревни, Митя еще разъ остановился, обернулся на мгновение: вечерній жукъ медленно плылъ и гудѣлъ гдѣ-то возлѣ него, точно сѣя тишину, успокоеніе и сумерки, но еще свѣтло было отъ зари, охватившей полнеба своимъ ровнымъ, долго не гаснущимъ свѣтомъ первыхъ лѣтнихъ зорь, а надъ крышей дома, кое-гдѣ видной изъ-за деревьевъ, высоко блестя въ прозрачной небесной пустотѣ крутой и острый серпокъ только что народившагося мѣсяца. Митя глянулъ на него, быстро и мелко перекрестился подъ ложечкой и шагнулъ въ кусты акаціи. Алленка вела въ лошину, но не къ шалашу, — къ нему надо было идти наискось, взять лѣвѣе. И Митя, шагнувъ черезъ кусты, побѣждалъ цѣликомъ, среди широко распростертыхъ яблонныхъ вѣтвей, то нагибаясь, то отстраняя ихъ отъ себя. Черезъ минуту онъ уже былъ на условленномъ мѣстѣ.

Онъ со страхомъ сунулся въ шалашъ, въ его темноту, пахнущую сухой прѣлой соломой, зорко оглянулъ его и почти съ радостью убѣдился, что тамъ еще никого нѣтъ. Но роковой мигъ близился, и онъ сталъ возлѣ шалаша, весь превратясь въ чуткость, въ напряженнѣйшее вниманіе. Весь день почти ни на минуту не

оставляло его необыкновенное тѣлесное возбужденіе. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно — какъ днемъ, такъ и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владѣло только тѣломъ, не захватывая души. Сердце однако билось страшно. А кругомъ было такъ поразительно тихо, что онъ слышалъ только одно — это біеніе. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкіе безцвѣтные мотыльки въ вѣтвяхъ, въ сѣрой листьѣ яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернемъ небѣ, и отъ этихъ мотыльковъ тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдругъ гдѣ-то сзади него что-то хрустнуло — и звукъ этотъ какъ громъ поразилъ его. Онъ порывисто обернулся, глянулъ межъ деревьевъ по направленію къ валу — и увидалъ, что подъ сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успѣлъ онъ сообразить, задать себѣ вопросъ, что это такое, какъ это темное, набѣжавъ на него, сдѣлало какое-то широкое движеніе — и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила съ головы подолъ короткой юбки изъ черной самотканной шерсти, и онъ увидалъ ея испуганное и сіяющее улыбкой лицо. Она была боса, въ одной юбкѣ и въ простой суровой рубахѣ, заправленной въ юбку. Подъ рубахой стояли ея дѣвичьи груди. Широко вырѣзанный воротъ открывалъ ея шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава — округлая руки. И все въ ней, отъ небольшой головки, покрытой желтымъ платочкомъ, и до маленькихъ босыхъ ногъ, женскихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣтскихъ, было такъ хорошо, такъ ловко, такъ плѣнительно, что Митя, видѣвшій ее до сихъ поръ только наряженной,

впервые увидавшій ее во всей прелести этой простоты, внутренно ахнулъ.

— Ну, скорѣе что-ли, — весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула въ шалашъ, въ его пахучій сумракъ.

Тамъ она пріостановилась, а Митя, стиснувъ зубы, чтобы удержать ихъ стукъ, поспѣшилъ запустить руку въ карманъ — ноги его были напряжены, тверды, какъ желѣзо, — и сунулъ ей въ ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и сѣла на землю. Митя сѣлъ возлѣ нея и обнялъ ее за шею, не зная, что дѣлать, — надо ли цѣловать или нѣтъ. Запахъ ея платка, волосъ, луковый запахъ всего ея тѣла, смѣшанный съ запахомъ избы, дыма — все было до головокруженія хорошо, и Митя понималъ, чувствовалъ это. И все таки было все то же, что и раньше: страшная сила тѣлеснаго желанія, не переходящая въ желаніе душевное, въ блаженство, въ восторгъ, въ истому всего существа. Она откинулась и легла навзничъ. Онъ легъ рядомъ, привалился къ ней, протянулъ руку. Тихо и нервно смѣясь, она поймала ее и потянула внизъ.

— Никакъ нельзя, — сказала она не то въ шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цѣпко держала ее своей маленькой рукой, глаза ея смотрѣли въ треугольную раму шалаша на вѣтви яблонь, на уже потемнѣвшее синее небо за этими вѣтвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую въ немъ. Что выражали эти глаза? Что надо было дѣлать? Поцѣловать въ шею, въ губы? Вдругъ она поспѣшно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

— Ну скорѣй что-ли. . .

Когда они поднялись, — Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованіемъ, — она, перекрывая платокъ, поправляя волосы, спросила оживленнымъ шепотомъ, — уже какъ близкій человекъ, какъ любовница:

— Вы, говорятъ, въ Субботино ѣздили. Тамъ погѣ дешево поросять продаетъ. Правда?

XXVIII

На этой же недѣлѣ, въ субботу, дождь, начавшійся еще въ среду, лившій съ утра и до вечера, лилъ какъ изъ ведра.

Онъ то и дѣло припускалъ въ этотъ день особенно жесточно, бурно и мрачно.

И весь день Митя безъ устали ходилъ по саду и весь день такъ страшно плакалъ, что порой даже самъ дивился силѣ и обилію своихъ слезъ.

Параша искала его, кричала на дворѣ, въ липовой аллеѣ, звала обѣдать, потомъ чай пить — онъ не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно отъ тучъ; на ихъ чернотѣ густая зелень мокраго сада выдѣлялась особенно густо, свѣжо и ярко. Налетавшій отъ времени до времени вѣтеръ свергалъ съ деревьевъ еще и другой ливень — цѣлый потокъ брызгъ. Но Митя ничего не видѣлъ, ни на что не обращалъ вниманія. Его бѣлый картузь обвисъ, сталъ темно-сѣрый, студенческая куртка почернѣла, голенища были до колѣнъ въ грязи. Весь облитый, весь насквозь промокшій, безъ

единой кровинки въ лицѣ, съ заплаканными, безумными глазами, онъ былъ страшенъ.

Онъ курилъ папиросу за папиросой, широко шагаль по грязи аллея, а порой просто куда попало, цѣликомъ, по высокой мокрой травѣ среди яблонь и грушъ, натываясь на ихъ кривые корявые сучья, пестрѣвшіе сѣрозеленымъ размокшимъ лишайникомъ. Онъ сидѣлъ на разбухшихъ, почернѣвшихъ скамейкахъ, уходилъ въ лощину, лежалъ на сырой соломѣ въ шалашѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ лежалъ съ Аленкой. Отъ холода, отъ ледяной сырости воздуха большія руки его посинѣли, губы стали лиловыми, смертельно-блѣдное лицо съ провалившимися щеками приняло фиолетовый оттѣнокъ. Онъ лежалъ на спинѣ, положивъ нога на ногу, а руки подъ голову, дико уставившись въ черную соломенную крышу, съ которой падали крупныя ржавыя капли. Потомъ скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Онъ порывисто вскакивалъ, вытаскивалъ изъ кармана штановъ уже сто разъ прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечеромъ, — привезъ землемѣръ, по дѣлу пріѣхавшій въ усадьбу на нѣсколько дней. — и опять, въ сто первый разъ, жадно пожиралъ его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихомъ, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна васъ, но я безумно люблю искусство! Я рѣшилась, жребій брошенъ, я уѣзжаю — вы знаете, съ кѣмъ. . . Вы чуткій, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мнѣ ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого мѣста, Митя комкалъ письмо и, ут-

кнувшись лицомъ въ мокрую солому, бѣшено стискивая зубы, захлебывался отъ рыданій. Это нечаянное ты, которое такъ страшно напоминало и даже какъ будто опять возстановлявало ихъ близость и заливало сердце нестерпимой нѣжностью, — это было выше человѣческихъ силъ! А рядомъ съ этимъ ты — это твердое заявленіе, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, онъ это зналъ: бесполезно! Все кончено и кончено навѣки!

Передъ вечеромъ дождь обрушившійся на садъ съ удесyтеренной силой и съ неожиданными ударами грома, погналъ его наконецъ въ домъ. Мокрый съ головы до ногъ, не попадая зубъ на зубъ отъ ледяной дрожи во всемъ тѣлѣ, онъ выглянулъ изъ-подъ деревьевъ и, убѣдившись, что его никто не видитъ, пробѣжалъ подъ свое окно, снаружи приподнялъ раму, — рама была старинная, съ подъемной половиной, — и, вскочивъ въ комнату, заперъ дверь на ключъ и бросился на кровать.

И стало быстро темнѣть. Дождь шумѣлъ повсюду, — и по крышѣ, и вокругъ дома, и въ саду. Шумъ его былъ двойной, разный, — въ саду одинъ, возлѣ дома, подъ непрерывное журчаніе и плескъ желобовъ, лившихъ воду въ лужи, — другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшаго въ летаргическое оцѣпенѣніе, необъяснимую тревогу и вмѣстѣ съ жаромъ, которымъ пылали его ноздри, его дыханіе и голова, погружало его точно въ наркозъ, создавало какой-то какъ-будто другой міръ, какое-то другое предвечернее время въ какомъ-то какъ-будто чужомъ, другомъ домѣ, въ которомъ было ужасное предчувствіе чего-то.

Онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что онъ въ своей комнатѣ, уже почти темной отъ дождя и наступающаго вечера, что тамъ, въ залѣ, за чайнымъ столомъ, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемѣра, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже шелъ по какому-то чужому залу вслѣдъ за уходившей отъ него молодой нянькой, и его охватывалъ необъяснимый, все растушій ужасъ, смѣшанный однако съ вождедѣніемъ, съ предчувствіемъ близости кого-то съ кѣмъ-то, близости, въ которой было что-то противоественно-омерзительное, но въ которой онъ и самъ какъ-то участвовалъ. Чувствовалось же все это черезъ посредство ребенка съ большимъ бѣлымъ лицомъ, котораго, перегнувшись назадъ, несла на рукахъ и укачивала молоденькая нянька. Митя спѣшилъ обогнать ее, обогналъ и уже хотѣлъ заглянуть ей въ лицо, — не Аленка ли это, — но неожиданно очутился въ сумрачной гимназической классной комнатѣ съ замазанными мѣломъ стеклами. Та, что стояла въ ней передъ комодомъ, передъ зеркаломъ, не могла его видѣть, — онъ вдругъ сталъ невидимъ. Она была въ шелковой желтой нижней юбкѣ, плотно облегающей округлыя бедра, въ туфелькахъ на высокихъ каблучкахъ, въ тонкихъ ажурныхъ черныхъ чулкахъ, сквозь которые просвѣчивало тѣло, и она, сладко робѣя и стыдясь, знала, что сейчасъ будетъ. Она уже успѣла спрятать ребенка въ ящикъ комода. Перекинувъ косу черезъ плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядѣла въ зеркало, гдѣ отражалось ея припудренное личико, обнаженныя плечи и млечно-голубыя, съ розовыми сосками, маленькія груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошелъ господинъ въ смокингъ, съ безкровнымъ бри-

тымъ лицомъ, съ черными и короткими курчавыми волосами. Онъ вынулъ плоскій золотой портсигаръ, сталь развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрѣла на него, зная его цѣль, потомъ швырнула косу на плечо, подняла голыя руки. . . Онъ снисходительно обнялъ ее за талію — и она охватила его шею, показывая свои темныя подмышки, прильнула къ нему, спрятала лицо на его груди. . .

XXIX

И Митя очнулся, весь въ поту, съ потрясающе яснымъ сознаниемъ, что онъ погибъ, что въ мірѣ такъ чудовищно безнадежно и мрачно, какъ не можетъ быть и въ преисподней, за могилой. Въ комнатѣ была тьма, за окнами шумѣло и плескалось, и этотъ шумъ и плескъ были нестерпимы (даже однимъ своимъ звукомъ) для тѣла, сплошь дрожащаго отъ озноба. Всего же нестерпимѣе и ужаснѣе была чудовищная противоестественность человѣческаго соитія, которое какъ будто и онъ только что раздѣлилъ съ бритымъ господиномъ. Изъ залы были слышны голоса и смѣхъ. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью отъ него, грубостью жизни, ея равнодушіемъ, безпощадностью къ нему. . .

— Катя! — сказалъ онъ, садясь на кровати, сбрасывая съ нея ноги. — Катя, что же это такое! — сказалъ онъ вслухъ, совершенно увѣренный, что она слышитъ его, что она здѣсь, что она молчитъ, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимаетъ

непоправимый ужасъ всего того, что она надѣлала. — Ахъ, все равно, Катя, — прошепталъ онъ горько и нѣжно, желая сказать, что онъ проститъ ей все, лишь бы она по прежнему кинулась къ нему, чтобы они вмѣстѣ могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь въ томъ прекраснѣйшемъ весеннемъ мѣрѣ, который еще такъ недавно былъ подобенъ раю. Но прошептавъ: «Ахъ, все равно, Катя!» — онъ тотчасъ-же понялъ, что нѣтъ, не все равно, что спасенія, возврата къ тому дивному видѣнію, что дано было ему когда-то въ Шаховскомъ, на балконѣ, заросшемъ жасминомъ, уже нѣтъ, не можетъ быть, и тихо заплакалъ отъ боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была такъ сильна, такъ нестерпима, что, не думая, что онъ дѣлаетъ, не сознавая, что изъ всего этого выйдетъ, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться отъ нея и не попасть опять въ тотъ ужасный мѣръ, гдѣ онъ провелъ весь день и гдѣ онъ только что былъ въ самомъ ужасномъ и отвратномъ изъ всѣхъ земныхъ сновъ, онъ нашарилъ и отодвинулъ ящикъ ночного столика, поймалъ холодный и тяжелый комъ револьвера и, глубоко и радостно вздохнувъ, раскрылъ ротъ и съ силой, съ наслажденіемъ выстрѣлилъ.

14. IX. 1924

Приморскія Альпы.

СВЯТИТЕЛЬ

Двѣсти лѣтъ тому назадъ, въ нѣкій зимній день, Святитель, имѣвшій пребываніе въ нѣкоемъ древнемъ монастырѣ, чувствовалъ себя особенно слабымъ и умиленнымъ.

Вечеромъ въ его покоѣ, передъ многочисленными и прекрасными образами, горѣли лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшія полъ, давали сладостный уютъ. И Святитель, сидя и грѣясь на лежанкѣ, тихо позвонилъ въ колокольчикъ.

Неслышно вошелъ и тихо поклонился служка.

— Милый братъ, позови ко мнѣ пѣвчихъ, — сказалъ Святитель. — Богъ проститъ мнѣ, недостойному, что я тревожу ихъ въ неурочный часъ.

И вскорѣ покой Святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли въ однихъ шерстяныхъ чулкахъ, — разулись, прежде чѣмъ войти.

И Святитель сказалъ въ отвѣтъ на ихъ зѣмное метаніе:

— Милые братья, хотѣлось бы мнѣ послушать мои юношескія пѣснопѣнія во славу пречистаго Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса пѣть тѣ пѣснопѣнія, что Святитель созидаль въ своей ранней молодости.

И онъ слушалъ, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда-же получили они отпускъ и, поклоняясь, стали выходить одинъ за другимъ, Святитель задержаль одного изъ нихъ, любимѣйшаго, и повель съ нимъ долгую неспѣшную бесѣду.

Онъ разсказаль ему всю свою жизнь.

Онъ говорилъ о своемъ дѣтствѣ, отрочествѣ, о трудахъ и мечтахъ своей юности, о своихъ первыхъ, сладчайшихъ молитвенныхъ восторгахъ.

Прощаясь-же съ нимъ вблизи полуночи, поцѣловаль его съ лихорадочно-сіяющимъ взоромъ и поклонился ему въ ноги.

И эта была послѣдняя земная ночь Святителя: на разсвѣтѣ обрѣли его почившимъ, — съ двоерогимъ жезломъ въ рукѣ стояль Онъ на колѣняхъ передъ божницею, закинувъ назадъ свой тонкій и блѣдный ликъ, уже хладный и безгласный.

Такъ и пишется Онъ на одномъ древнемъ образѣ. И былъ этотъ образъ самымъ завѣтнымъ у одного святого, намъ почти современнаго, — простого тамбовскаго мужика. И молясь передъ нимъ, такъ обращался онъ къ великому и славному Святителю:

— Митюшка, милый!

Только одинъ Господь вѣдаетъ мѣру неизреченной красоты русской души.

7. V. 24.

ИМЕНИНЫ

Вмѣстѣ съ громадной пыльно-черной тучей, заходящей изъ-за сада, изъ-за вѣковыхъ березъ и сѣрыхъ итальянскихъ тополей, все болѣе жгучимъ становится ослѣпительный солнечный свѣтъ, его сухой степной жаръ — и все болѣе нѣмѣетъ усадьба, все мельче и серебристѣе струится листва на тополяхъ.

Черный адъ обступаетъ радостный солнечный міръ усадьбы.

Въ усадьбѣ преизбытокъ довольства, счастья.

Домъ полонъ гостей, сосѣдей, родственниковъ, своихъ и чужихъ слугъ, — въ домѣ именины.

Идетъ обѣдъ, долгій, необычный, съ пирожками, съ янтарнымъ бульономъ. съ маринадами къ жаренымъ индѣйкамъ, съ густыми наливками, съ пломбиромъ, съ шампанскимъ въ узкихъ старинныхъ бокалахъ, по краямъ золоченыхъ.

И я тоже въ усадьбѣ, въ домѣ, за обѣдомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я все это — день, усадьбу, гостей и даже себя самого — только вижу: чувствую себя внѣ всего, внѣ жизни.

Я мальчикъ, ребенокъ, нарядный и счастливый наследникъ всего этого міра, и мнѣ тоже празднично,

— особенно отъ этихъ дѣдовскихъ бокаловъ, псалыхъ горько-сладкаго, тонко-колючаго вина, — но вмѣстѣ съ тѣмъ и несказанно тяжко, такъ тяжко, точно вся вселенная на краю гибели, смерти.

Отчего?

Отъ этой страшной тучи, адомъ обступающей міръ, отъ этой растущей тишины?

А, нѣтъ! Оттого, что, оказывается, не я одинъ внѣ всего, внѣ жизни: всѣ, окружающіе меня, тоже внѣ ея, хотя они и двигаются, пьютъ, ѣдятъ, говорятъ, смѣются.

И еще оттого, что я чувствую страшную давность, древность всего того, что я вижу, въ чемъ я участвую въ этотъ роковой, ни на что не похожій (и настоящій и вмѣстѣ съ тѣмъ такой давній) именинный день, въ этой столь мнѣ родной и въ то же время столь далекой и сказочной странѣ.

И въ душѣ моей растетъ такая скорбь, что я наконецъ разрываю этотъ сонъ. . .

Глубокая зимняя ночь, Парижъ.

9. V. 24.

СКАРАБЕИ

Вижу себя въ Каирѣ, въ Булакскомъ музеѣ.

Когда входилъ во дворъ, пара буйволовъ медленно влекла къ подъѣзду длинныя дроги, на которыхъ высился громадный саркофагъ. Усмѣхнувшись, подумалъ:

— Еще одинъ великій царь. . .

Разноцвѣтные гранитные саркофаги, гробы изъ золотистаго лакированнаго дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромать мумій, какъ бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и дѣловито перекликались, что-то спрашивали другъ у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившіе по звонкимъ коридорамъ и сбѣгавшіе съ главной лѣстницы чиновники, принимавшіе новую партію тысячелѣтнихъ покойниковъ.

А пройдя между гробами въ вестибюль, я вступилъ въ безконечныя залы, блистающія мертвенной чистотой и полныя другихъ гробовъ. И здѣсь оно, это тонкое и сухое благовоніе, древнее, священное! Долго ходилъ и опять долго смотрѣлъ на маленькія черныя мощи Рамзеса Великаго въ его стекляномъ ящикѣ. По-

томъ сѣль. . . Да, да, подумать только: сижу возлѣ самого Великаго Рамзеса, въ двухъ шагахъ отъ его подлиннаго тѣла, пусть изсохшаго, почернѣвшаго, превратившагося въ однѣ кости, но все-же его, его!

А рядомъ — скарабей Мариетта. Мариеттъ помѣстилъ въ особой витринѣ, разложилъ въ хронологическомъ порядкѣ всѣ собранные имъ царскіе скарабеи, — триста штукъ чудесныхъ жучковъ или ляписъ-лазури и серпентина. На этихъ жучкахъ писали имена усопшихъ царей, ихъ клали на грудь царскихъ мумій, какъ символъ рождающейся изъ земли и вѣчно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариеттъ собралъ жучковъ, рассортировалъ — и выставилъ на удивленіе всему человѣчеству:

— Вотъ вся исторія Египта, вся жизнь его за цѣлыхъ пять тысячъ лѣтъ. . .

Да, пять тысячъ лѣтъ жизни и славы, а въ итогѣ — игрушечная коллекція камешковъ! И камешки эти — символъ вѣчной жизни, символъ воскресенія! Горько усмѣхаться или радоваться?

Все таки радоваться. Все таки быть въ томъ во-вѣки неистребимомъ (и самомъ дивномъ на землѣ), что и до сихъ поръ кровно связываетъ мое сердце съ сердцемъ, остывшимъ нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ, съ сердцемъ, на коемъ тысячелѣтія покоился этотъ воистину божественный кусочекъ ляписъ-лазури, — съ человѣческимъ сердцемъ, которое въ тѣ легендарные дни такъ-же твердо, какъ и въ наши, отказывалось вѣрять въ смерть, а вѣрило только въ жизнь. Все пройдетъ — не пройдетъ только эта вѣра!

10. V. 24.

БОГИНЯ

I.

Я записалъ этотъ день:

«Парижъ, 6 февраля 1924 г. Былъ на могилѣ Богини Разума».

II.

Богиня Разума родилась въ Парижѣ, полтора вѣка тому назадъ, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ея были люди совсѣмъ простые, жили очень скромно, даже бѣдно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой въ соединеніи съ рѣдкой граціей, въ отрочествѣ у нея обнаружился точный музыкальный слухъ и вѣрный, чистый голосокъ, а въ двухъ шагахъ отъ улочки Сэнъ-Мартэнъ, гдѣ она родилась и росла, находилось нѣчто сказочно-чудесное, зданіе Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой дѣвочки рано стали туманить обольстительныя мечты, надежды на славную будущность. И случилось такъ, что мечты и надежды не только не обманули, но даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превзошли ожиданія. Тереза Анжелика Обри не только

стала артисткой Оперы, не только пѣла и танцевала на ея сценѣ рядомъ съ знаменитостями и вызывала восторженные рукоплесканія, являясь передъ толпой олимпійскими богинями, — то Діаной, то Венерой, то Аѳинной-Палладой, — но и попала въ исторію: 10 ноября 1793 года она играла на сценѣ, которую никогда не могла и вообразить себѣ, — въ соборѣ Парижской Богоматери, выступала въ роли неслыханной и невиданной, въ роли Богини Разума, а затѣмъ — «après avoir détrôné la ci-devant Sainte Vierge» — торжественно была отнесена въ Тюльерійскій дворецъ, въ Конвентъ: какъ живое воплощеніе новаго Божества, обрѣтеннаго человѣчествомъ.

Погребена Богиня на Монмартрскомъ кладбищѣ. Какъ не взглянуть на такую могилу?

III.

Я давно собирался это сдѣлать. Наконецъ поѣхалъ. Въ солнечный день, уже почти весенній, но довольно пронзительный, съ блѣдно-голубымъ, кое-гдѣ подмазаннымъ небомъ, я вышелъ на улицу и спустился въ ближайшее метро. Сквозняки, бѣгущая толпа, длинные коридоры, цвѣтистыя рекламы, лѣстницы все вглубь и вглубь и наконецъ совсѣмъ преисподняя, ея влажное банное тепло, вѣчная ночь и огни, блескъ свода, сѣраго, рубчататаго, глянцевиатаго, какъ брюхо адскаго змія. . . Черезъ минуту я уже стоялъ въ людномъ вагонѣ, мчался подъ Парижемъ и думалъ о Па-

рижѣ время Богини Разума и опять — о ея удивительной судьбѣ, ея удивительномъ образѣ.

Современники писали о ней: «Одаренная всѣми внѣшники дарами, какіе только можетъ дать природа женщинѣ, она есть живая модель того античнаго совершенства, которое являютъ намъ памятники искусства; при взглядѣ на ея станъ и очеркъ ея головы тотчасъ является мысль о грозной эгидѣ и шлемѣ Аѳины-Паллады, и она особенно на мѣстѣ въ тѣхъ роляхъ, гдѣ черты-лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздавать богинь. . .» Это писалось, когда ей было уже лѣтъ тридцать пять. Можно себѣ представить, какъ прекрасна была она въ двадцать, въ тѣ годы, когда она выходила на сцену въ короткой туникѣ, въ легкихъ сандаліяхъ на стройной ногѣ, съ золотымъ полумѣсяцемъ на высокой прическѣ, съ лукомъ въ длинныхъ округлыхъ рукахъ, — Діаной Дѣвственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; матеріальное ея положеніе было незавидно — всего нѣсколько сотъ ливровъ въ годъ жалованія да уголь въ родительскомъ домѣ; положивъ за кулисами лукъ, снявъ бѣлила и румяна, сбросивъ тунику и закрутивъ волосы простымъ узломъ, она надѣвала грошевое платьице и бѣжала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать въ чердачной каморкѣ. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри «très sage», — простодушіе, милая легкость, нетребовательность, всегда отличали ея характеръ. И вотъ, «народъ, разбившій оковы рабства, достойно воздалъ ей 10 ноября 1793 года», обезсмертилъ «ce chef-d'oeuvre de la Nature», какъ галантно назвалъ ее Шо-

метъ, представляя Конвенту. И много лѣтъ послѣ того распѣвали уличныя пѣвцы стихи самого Беранже:

Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle
Quand tout un peuple entourant votre char
Vous saluait du nom de l'immortelle
Dont votre main brandissait l'étendard?
De nos respects, de nos cris d'allegresse,
De votre gloire et de votre beauté,
Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse,
Déesse de la Liberté!

IV.

Возлѣ Оперы я вышелъ на свѣтъ Божій. Добродѣтельные греки были правы: небо, солнце, воздухъ — высшая радость смертныхъ, трижды несчастны тѣни, населяющія ширококватное царство Гадеса. Бѣдная Тереза Анжелика Обри, бѣдная Богиня Разума! Какъ бы это получше уяснить себѣ разумомъ, почему и за что уже сто лѣтъ гнѣтъ въ землѣ «*ce chef-d'oeuvre de la Nature?*»

Солнце, все таки еще зимнее, уже склонялось, былъ самый людной часъ, и несмѣтное множество народа и экипажей затопляло площадь въ его зеленоватомъ жидкомъ блескѣ. Пѣшеходы бѣжали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревушей лавиной. Я поймалъ свободный автомобиль, вскочилъ и поѣхалъ дальше. Изъ одного длиннаго и узкаго уличнаго пролета глянулъ на меня съ высоты Монмартра блѣдный восточный призракъ собора Sacre-Coeur. . .

Въ автомобилѣ я добросовѣстно постарался вспомнить возможно подробнѣе и представить себѣ возможно яснѣе все, что зналъ о 10 ноября 1793 года.

Какой былъ тогда Парижъ? Да Богъ его знаетъ, какой, слабо наше воображеніе, не великъ разумъ. Ну, конечно, былъ Парижъ уже и тогда огромнымъ городомъ, со множествомъ садовъ и помѣстій, съ прекрасными зданіями, но и съ лачугами, съ лужами и грязью даже на площадяхъ, съ грубыми средневѣковыми мостами черезъ патріархальную Сену... Лѣвый берегъ вообразить легче, — столько еще сохранилось тамъ прежнихъ узкихъ улицъ и узкихъ нелѣпыхъ домовъ. Зато соборъ все тотъ же. Какъ странно, — все тотъ же, какъ тогда, когда стояла подъ его сводами, на буффорскихъ скалахъ, возлѣ Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновеніе я довольно живо почувствовалъ душу Парижа въ тѣ годы, тотъ развалъ жизни, то нѣчто бездѣльное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которымъ вѣетъ въ воздухъ во времена всѣхъ революцій. И былъ сырой осенній день съ сильнымъ холоднымъ вѣтромъ, смѣнившимся ночной проливной дождь, и всюду, — на мостахъ, въ улочкахъ, ведущихъ къ собору, и особенно на площади передъ нимъ и въ немъ самомъ, — было великое, какъ бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался надъ городомъ грохотъ пушекъ, салютующихъ коронованію Новаго Божества. А Новое Божество стояло подъ сводами собора, «dans cette édifice ci-devant dit église métropolitaine», на скалистой горѣ, возлѣ бѣлоколоннаго хра-

ма, въ красной шапочкѣ, въ бѣлой хламидѣ, опоясанной пурпуровой лентой, съ копьемъ въ рукѣ — и два хора, «des adorateurs de la Liberté» — тоже во всемъ бѣломъ, въ вѣнкахъ изъ розъ, возжигали передъ ней ароматы, воздавали ей поклоненія и протягивали къ ней обнаженные руки:

Descends ô Liberté, fille de la Nature! —

а густая толпа «патріотовъ», переполнявшая соборъ, ревѣла и рукоплескала. . .

VI.

Монмартрское кладбище было когда-то за городомъ и, вѣроятно, было уютно, мирно, похоже на рощу, на большой садъ. Теперь все растущій городъ окружилъ его отовсюду, поглотилъ, включилъ въ себя. А такъ какъ оно лежитъ въ низменности, то черезъ эту низменность перекинуть теперь длинный и тяжкій желѣзный мостъ, по которому непрерывно идутъ и ѣдутъ, катятся съ глухимъ гуломъ валкіе омнибусы, несутся и на разные лады вопятъ автомобили, гремятъ и звенятъ трамваи. И вотъ первое, что ударило по моему чувству и зрѣнію, когда я достигъ мѣста вѣчнаго пристанища Богини Разума: этотъ черный грубый мостъ, подъ которымъ проѣзжаютъ къ желѣзнымъ воротамъ кладбища и который день и ночь грохочетъ надъ покойниками. А затѣмъ произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное.

Я хорошо зналъ, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основатель-

но, а впоследствии уже настолько, что цѣлыхъ сто лѣтъ даже историки, спеціально занимавшіеся изученіемъ «великой» революціи и въ частности культа разума, почти всѣ были убѣждены, что знаменитую революціонную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумиръ тѣхъ дней, пока не догадались заглянуть въ уцѣлѣвшія газеты отъ 11 ноября 1793 года. Но я какъ-то не подумалъ объ этомъ хорошенько, да отчасти и былъ правъ: вѣдь все таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть въ каждомъ новомъ учебникѣ. Мнѣ все таки представлялось, несмотря на всѣ мои горестныя мысли о ней, что по крайней мѣрѣ хоть на кладбищѣ-то ея могила есть нѣчто и всѣмъ вѣдома. Поэтому отчасти была простительна наивность, съ которой я обратился къ первому встрѣчному: гдѣ могила Богини Разума? Однако, встрѣчный посмотрѣлъ на меня какъ на помѣшаннаго:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснилъ. Но встрѣчный развелъ руками и резонно посовѣтовалъ мнѣ обратиться лучше въ кладбищенскую контору.

Тогда я еще увѣреннѣе направился въ контору. Каково-же было мое удивленіе, когда и въ конторѣ мнѣ отвѣтили на мой вопросъ вопросомъ-же:

— Эта ваша родственница, г-жа Обри?

— Но совсѣмъ нѣтъ, — сказалъ я, опѣшивъ.

— Она давно погребена?

— Въ январѣ 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

— Помилуйте, да вы смѣетесь! Можемъ ли мы знать всѣхъ погребенныхъ здѣсь сто лѣтъ тому назадъ!

— Но неужели никто не посьщаетъ эту могилу, и я первый справляюсь о ней у васъ?

— Кажется, первый! Обратитесь къ какому нибудь сторожу, можетъ, онъ случайно знаетъ по надписи на памятникѣ, если таковой есть и надпись сохранилась. . .

VII.

А затѣмъ я спросилъ о знаменитой могилѣ у полной, съ черными усиками женщины, стоявшей на порогѣ конторы, предполагая въ ней привратницу. Въ самомъ дѣлѣ, это была привратница и къ тому-же очень живая и толковая, — эти полныя съ усиками всегда такія. Но и она о могилѣ не имѣла никакого понятія. А затѣмъ я тщетно спрашивалъ сторожей, встрѣчавшихся мнѣ въ голыхъ аллеяхъ, по которымъ я ходилъ не менѣе получаса, оглядывая надписи на памятникахъ. Затѣмъ опять обращался къ встрѣчнымъ дамамъ и господамъ въ траурѣ. . . И одинъ господинъ ни съ того ни съ сего (вѣрнѣе, съ расчетомъ хоть чѣмъ нибудь удовлетворить сумасшедшаго искателя знаменитыхъ могилъ) предложилъ мнѣ взглянуть на могилу Золя. Эта могила была въ двухъ шагахъ отъ меня, на пригоркѣ. Къ вечеру совсѣмъ засвѣжѣло, небо надъ кладбищемъ стало еще блѣднѣе, низкое солнце холодно и рѣзко освѣщало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы краснаго гранита, на которой не было ни единого религіознаго знака, ни одного слова Писанія, — очевидно, тоже въ честь Разума. Надъ глыбой стоялъ на цоколѣ терракотовый

бюсть — моложавый мужчина лѣтъ тридцати, щеголе-
вато-демократической и артистически-рабочей наруж-
ности, съ длинными волосами и въ блузѣ. Я взглянулъ
и, закуривъ, разсѣяннo сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по
аллеѣ, потомъ зачѣмъ-то въ сторону, среди деревьевъ,
крестовъ и памятниковъ, гдѣ мѣстами лежалъ сѣрый
снѣжокъ. — «Ну и Богъ съ ней, съ этой Богиней Ра-
зума, — подумалъ я, — пора домой» — и вдругъ уви-
далъ себя какъ разъ передъ ея могилой. . .

И присѣвъ на сосѣдній надгробный камень, я уста-
вился на могилу въ полномъ изумленіи.

VIII.

Да, такъ вотъ оно что: даже на кладбищѣ ни единая
душа не знаетъ и знать не желаетъ о какой-то Богинѣ
Разума, нѣкогда коронованной вотъ въ этомъ самомъ
Парижѣ, подъ древними сводами собора Парижской
Богоматери. Но мало того: что же это такое передъ
моими глазами?

Передъ моими глазами было старое и довольно не-
взрачное дерево. А подъ деревомъ — квадратъ ржа-
вой рѣшетки. А въ квадратѣ — камень на совсѣмъ
плоской и даже слегка осѣвшей землѣ, а на камнѣ —
двѣ самыхъ простыхъ каменныхъ колонки въ аршинъ
высоты, покосившихся, изъѣденныхъ временемъ, дож-
демъ и лишаями. Когда-то ихъ «украшали» урны. Те-
перь колонки лишены даже этихъ украшеній: одна
урна совсѣмъ куда-то исчезла, другая валяется на зем-

лѣ. И на одной колонкѣ надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри».

— «Est-ce bien vous?»

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежитъ въ землѣ въ двухъ шагахъ отъ меня?

Тамъ еще есть гнилые, смѣшавшіеся съ землей остатки гроба, правильно лежащія кости, зубастый черепъ. . . Это она? Конечно, она. А съ другой стороны — конечно, не она. . . Мудрый разумъ, помоги, — я всегда въ подобныхъ случаяхъ совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разумъ не помогаль.

IX.

Безспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего въ силу необыкновенныхъ несчастій. Въ общемъ, она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не понимать этого даже въ тѣ дни, которые, казалось бы, должны были быть ея лучшими днями.

Революція совпала съ апогеемъ ея красоты и молодости. И, казалось-бы, что-жъ ей, молоденькой фигуранткѣ, да еще дочери ремесленника, революція? Только радость! А потомъ — «vous êtes déesse, déesse de la Liberté!» И жалованья прибавили, да еще сразу вдвое. . . Но нѣтъ, слишкомъ хороша она была по натурѣ для всѣхъ этихъ радостей.

На ея глазахъ началась и цѣлые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она

родилась, росла, мечтала о сценѣ и которая, конечно, только восхищала ее своимъ блескомъ. Разрушаетъ «старую жизнь» во время революцій не презрѣніе народа къ ней, а какъ разъ наоборотъ — острая зависть къ ней, жажда ея. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по ея характеру, только рукоплесканія (причемъ рукоплесканія маркиза она, вѣроятно, все таки предпочитала рукоплесканіямъ трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видѣть, что такое есть то царство Братства и Равенства, въ которое она попала, то «Жертвоприношеніе Свободѣ», — «l'Offrande à la Liberté», — которое приказано было ежедневно разыгрывать въ Оперѣ и которое тоже ежедневно разыгрывалось на улицахъ, въ подвалахъ тюремъ и на площадяхъ съ гильотинами. А Богъ, церковь? Можетъ быть, она была равнодушна къ религіи. Но все таки не могло не потрясать ее и все то, что дѣлалось въ тѣ дни и съ религіей, вся эта вдругъ начавшаяся по всей странѣ бѣшеная, звѣрская охота за священниками, грабежъ и оскверненіе церквей и, какъ вѣнецъ всего, упраздненіе Бога по комиссарскимъ декретамъ и переименованіе въ «Храмъ Разума» собора Парижской Богоматери, сперва даже было предназначенаго къ полному разрушенію. Могла ли быть горда и счастлива въ такіе дни вотъ эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежатъ въ землѣ предо мною?

Но она не только испытала весь этотъ общій кошмаръ, въ которомъ нѣсколько лѣтъ жила при ней вся страна. Надъ нею — уже лично надъ нею — внезапно разразилось нѣчто еще болѣе ужасное: «tout un peuple la saluait du nom de l'immortelle», то есть, говоря проще, заставилъ ее играть самую дикую и постыдную роль въ кощунствѣ еще болѣе неслыханномъ, чѣмъ всѣ прочія. Прости ей, Боже, развѣ виновата была она! Вѣдь ее именно заставили, заставила самая свирѣпая изъ тираній, тиранія Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же не сладко ей, вѣроятно, было. «Vous marchiez fière; oui, vous étiez déesses de la Liberté...» О, пошлѣйшая изъ пошлостей! Конечно, въ глубинѣ души несчастной Терезы Анжелики была нѣкоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ея кружилась: вѣдь все таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всемъ этомъ небываломъ и грандіозномъ, хотя и чудовищномъ торжествѣ, и играетъ роль, которую не играла никогда ни одна актриса въ мірѣ, и все это благодаря своей красотѣ, тому, что она и впрямь есть истинный «chef-d'oeuvre de la Nature». Но вмѣстѣ съ тѣмъ какой неописуемый ужасъ долженъ былъ туманомъ стоять весь день надъ полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувствъ замученной замѣстительницей Божьей Матери!

Повторяю, — и до 10 ноября испытала она уже не мало, неизмѣнно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу на-

сквозь изоглавшихся изувѣровъ, на сценѣ Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значить въ дѣйствительной жизни, всѣ эти «l'Offrande à la Liberté», и «Toute la Grèce ou ce que peut la Liberté». Революціонные вожди, какъ и полагается имъ по революціоннымъ обычаямъ, развивали сумасшедшую дѣятельность, каждый Божій день поражали городъ какой-нибудь новой выходкой, такъ что въ концѣ концовъ и воспримчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характеръ неожиданности. И все таки торжество 10 ноября свалилось на Парижъ (а на Обри еще болѣе) истинно какъ жуткій снѣгъ на голову. «Pour activer le mouvement antipapiste», Шометъ въ четвергъ седьмого ноября вдругъ распорядился на воскресенье десятого о «всенародномъ» празднествѣ въ честь Разума, о безпримѣрномъ кощунствѣ въ стѣнахъ Парижскаго собора, а m-lle Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовленія къ празднеству закипѣли съ остервенѣніемъ, и къ воскресенью все потребное, чтобы Богъ и попы были посрамлены окончательно, было вполнѣ готово. Всю ночь накануне лиль какъ изъ ведра ледяной дождь. Утромъ онъ пересталъ, но грязь была непролазная и дулъ свирѣпый вѣтеръ. Тѣмъ не менѣе, съ ранняго утра загрохотали пушки, загремѣли барабаны, Парижъ сталъ сыпать на улицу. . .

ХІ.

И было великое безобразіе, а для Обри и великое мученіе, даже тѣлесное. Съ ранняго утра она, вмѣстѣ съ прочими «Обожателями Свободы», то есть съ кордебалетомъ и хоромъ, была уже въ холодномъ соборѣ, репетировала. Потомъ стали собираться «патріоты», прискакалъ озабоченный Шометь — и началось торжество. Потомъ — и все подъ стукъ пушекъ, пѣніе, барабаны и шумъ толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свою дюжія плечи Обри вмѣстѣ съ ея тронѣмъ и понесли, въ сопутствіи хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «къ народу», а затѣмъ въ Конвентъ. И опять — давка, говоръ, крики, смѣхъ, остроты, а ноги чавкають по грязи, попадаютъ въ лужи, вѣтеръ рветъ голубую мантию и красную шапочку посинѣвшей Богини, кордебалетъ тоже стучитъ зубами въ своихъ вздувающихся отъ вѣтра бѣлыхъ рубашечкахъ, забрызганныхъ грязью, а сзади высоко качаются надъ толпой шесты, на которыхъ надѣты, для вящей потѣхи, золотое облаченіе и митра Парижскаго Архіепископа. А въ Конвентѣ — торжественный пріемъ Богини всѣмъ «высокимъ собраніемъ» во главѣ съ президентомъ, который ее привѣтствуетъ «какъ новое божество человѣчества», «заключаетъ отъ имени всего французскаго народа въ объятія», возводитъ на трибуну и сажаетъ рядомъ съ собою. . . Тутъ бы, казалось, и конецъ. Но нѣтъ! Изъ Конвента Обри понесли, совершенно такъ-же, какъ и принесли, назадъ, въ соборъ! Вообразите себѣ хорошенько это новое путешествіе и перечитайте затѣмъ стихотворное краснорѣчіе Беранже. . .

ХІІ.

Прошла революція, снова наступила Имперія и снова Обри заставляла разомъ подниматься всѣ бинокли и лорнеты при своемъ появленіи на сценѣ. Звѣзда ея стояла высоко, время, молодость, успѣхи сдѣлали прошлое далекимъ сномъ. Но вотъ однажды, въ одинъ изъ самыхъ блестящихъ вечеровъ, въ присутствіи самой Императрицы и ея Двора, во время апофеоза, которымъ оканчивалось «Возвращеніе Улисса», въ тотъ моментъ, когда Минерву-Обри медленно спускали съ облаковъ на землю, «слава» — я употребляю театральнѣйшій терминъ того времени — «слава», на которой возсѣдала она, внезапно сорвалась и обрушилась. . . Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью — и стала ей. Теперь, послѣ того, какъ ее, окровавленную и изувѣченную, принесли въ уборную и привели въ чувство, первое, что слѣтѣло съ ея губъ, былъ крикъ: «Ради Бога, не пускайте ко мнѣ Фанни, это испугаетъ ее!» А затѣмъ она тотчасъ стала умолять сказать ей правду: будетъ ли она въ состояніи снова играть, если останется жива?

Нѣтъ, играть ей больше не пришлось. Всѣми вскорѣ забытая, калѣка, обезпеченная только скудной пенсіей, она повела грустную и однообразную жизнь въ бѣдной и маленькой квартиркѣ, съ болѣзненной, медленно умирающей Фанни на рукахъ, и жизнь эта, къ несчастью, длилась еще много лѣтъ. Уличные пѣвцы пѣли подъ ея окнами:

Je vous revois, et le temps rapide

Ternit ces yeux où riaient les amours...

Résignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,
Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté,
Tout a péri: vous n'êtes pas déesse,
Déesse de la Liberté...

Но знала ли она, что все это относится къ ней? Нѣтъ, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и безъ Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось дѣйствительно одно — покоряться судьбѣ да употреблять остатокъ силъ на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть какъ-нибудь обезпечить ее послѣ своей смерти. Она всячески хлопотала объ устройствѣ судьбы Фанни, писала завѣщаніе, прося добрыхъ людей о ней да еще о своихъ похоронахъ, — о томъ, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятничекъ на ея могилѣ». И Богъ далъ ей подъ конецъ хотя и одно, но великое утѣшеніе: все таки Фанни пережила ее, — Фанни успокоилась вотъ въ этой самой могилѣ, что передо мною, черезъ полтора мѣсяца послѣ ея смерти...

А можетъ быть, ей было бы отраднѣе знать, умирая, что черезъ полтора мѣсяца она снова будетъ рядомъ — и уже навѣки — со своею Фанни? Можетъ быть, можетъ быть... Что мы знаемъ? Что мы знаемъ, что мы понимаемъ, что мы можемъ!

XIII.

Одно хорошо: отъ жизни человѣчества, отъ вѣковъ, поколѣній остается на землѣ только высокое, доброе

и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое въ концѣ концовъ не оставляетъ слѣда: его нѣтъ, не видно. А что осталось, что есть? Лучшія страницы лучшихъ книгъ, преданія о чести, о совѣсти, о самопожертвованіи, о благородныхъ подвигахъ, чудесныя пѣсни и статуи, великія и святыя могилы, греческіе храмы, готическіе соборы, ихъ райски-дивныя цвѣтныя стекла, органныя громы и жалобы, «Dies irae» и «Смертію смерть поправъ»... Остался, есть и во вѣки будетъ Тотъ, Кто, со креста любви и страданія, простираетъ своимъ убійцамъ неизмѣнно нѣжныя объятія, и Она, Единая, Богиня богинь, Ея-же благословенному царствію не будетъ конца.

МУЗЫКА

Я взялся за дверную ручку, потянулъ ее къ себѣ — и тотчасъ-же заигралъ оркестръ. За раскрытымъ окномъ шли назадъ лунныя поля — домъ сталъ бѣгущимъ поѣздомъ. Я тянулъ то крѣпче, то слабѣе — и, необыкновенно легко согласуясь съ моимъ желаніемъ, то тише, то громче, то торжественно ширясь, то очаровательно замирая, звучала музыка, передъ которой была ничто музыка всѣхъ Бетховеновъ въ мірѣ. Я уже понялъ, что это сонъ, мнѣ было уже страшно отъ его необыкновенной жизненности, и я сдѣлалъ отчаянное усиліе очнуться и, очнувшись, сбросилъ ноги съ кровати и зажегъ огонь, но тотчасъ-же узналъ, что все это опять дьявольская игра сна, что я лежу, что я въ темнотѣ и что нужно во что бы то ни стало освободиться отъ этого навожденія, въ которомъ несомнѣнно чувствовалась какая-то потусторонняя, чужая, хотя въ то же время и моя сила, сила могущественная нечеловѣчески, потому что человѣческое воображеніе обычной, дневной жизни, будь то воображеніе хоть всѣхъ Толстыхъ и Шекспировъ вмѣстѣ, можетъ все таки только воображать, грезить, то есть все таки мыслить, а не дѣлать. Я-же дѣлалъ,

именно дѣлалъ, нѣчто совершенно непостижимое: я дѣлалъ музыку, бѣгущій поѣздъ, комнату, въ которой я будто бы очнулся и будто бы зажегъ огонь, я творилъ ихъ такъ-же легко, такъ-же дивно и съ такой-же вещественностью, какъ можетъ творить только Богъ, и видѣлъ творимое мною ни чуть не менѣе ясно и ощутительно, чѣмъ вижу я сейчасъ, на яву, при свѣтѣ дня, вотъ этотъ столъ, на которомъ я пишу, вотъ эту чернильницу, въ которую я только что обмакнулъ перо. . .

Что-же это такое? Кто творилъ? Я, вотъ сейчасъ пишушій эти строки, думающій и сознающій себя? Или-же кто-то, сущій во мнѣ помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно болѣе могущественный по сравненію со мною, себя въ этой обыденной жизни сознающимъ? И что вещественно и что невещественно?

СЛѢПОЙ

Если выйти на моль, встрѣтишь, не смотря на яркое солнце, рѣзкій вѣтеръ и увидишь далекія зимнія вершины Альпъ, серебряныя, страшныя. Но въ затишьи, въ этомъ бѣломъ городкѣ, на набережной, — тепло, блескъ, по весеннему одѣтые люди, которые гуляютъ или сидятъ на скамьяхъ подъ пальмами, шурясь изъ подъ соломенныхъ шляпъ на густую синеву моря и бѣлую статую англійскаго короля, въ морской формѣ стоящаго въ пустотѣ свѣтлаго неба.

Онъ-же сидитъ одиноко, спиной къ заливу, и не видитъ, а только чувствуетъ солнце, грѣющее его спину. Онъ съ раскрытой головой, сѣдь, старчески благообразенъ. Поза его напряженно неподвижная и, какъ у всѣхъ слѣпыхъ, египетская: держится прямо, сдвинувъ колѣни, положивъ на нихъ перевернутый картузь и большія загорѣлыя руки, приподнявъ свое какъ бы изваянное лицо и слегка обративъ его въ сторону, — все время сторожа чуткимъ слухомъ голоса и шуршащія шаги гуляющихъ. Все время онъ негромко, однообразно и слегка пѣвуче говоритъ, горестно и смиренно напоминаетъ намъ о нашемъ долгѣ быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь нако-

нецъ и кладу въ его картузъ, передъ его незрячимъ лицомъ, нѣсколько сантимовъ, онъ, все такъ-же незряче глядя въ пространство, не мѣняя ни позы, ни выраженія лица, на мигъ прерываетъ свою пѣвучую и складную, заученную рѣчь и говоритъ уже просто и сердечно:

— *Merci, merci, mon bon frère!*

«*Mon bon frère. . .*». Да, да, всѣ братья. Но только смерть или великія скорби, великія несчастья напоминаютъ намъ объ этомъ съ подлинной и неотразимой убѣдительностью, лишая насъ нашихъ земныхъ чиновъ, выводя насъ изъ круга обыденной жизни. Какъ увѣренно произноситъ онъ это: *mon bon frère!* У него нѣтъ и не можетъ быть страха, что онъ сказалъ невпопадъ, назвавши братомъ не обычнаго прохожаго, а короля или президента республики, знаменитаго чело­вѣка или милліардера. И совсѣмъ, совсѣмъ не потому у него нѣтъ этого страха, что ему все простятъ по его слѣпотѣ, по его невѣдѣнію. Нѣтъ, совсѣмъ не потому. Просто онъ теперь больше всѣхъ. Десница Божія, коснувшаяся его, какъ бы лишила его имени, времени, пространства. Отъ теперь просто чело­вѣкъ, которому всѣ братья. . .

И правъ онъ и въ другомъ: всѣ мы въ сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, — я несу въ себѣ жизнь, ея полноту и радость. Что это значитъ? Это значитъ, что я воспринимаю, приѣмлю все, что окружаетъ меня, что оно мило, пріятно, родственно мнѣ, то есть, вызываетъ во мнѣ любовь. Такъ что жизнь есть несомнѣнно любовь, доброта, и уменьше­ніе любви, доброты есть всегда уменьшеніе жизни, есть уже смерть. И вотъ онъ, этотъ слѣпой, зоветъ

меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мнѣ; тебѣ все родственно въ этомъ мірѣ въ это прекрасное утро, — значитъ родственъ и я; а разъ родственъ, ты не можешь быть безчувственъ къ моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, какъ и плоть всего міра, едина съ твоей, ибо твое ощущеніе жизни есть ощущеніе любви, ибо всякое страданіе есть наше общее страданіе, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущеніе другъ друга и всего сущаго!»

Не пекитесь о равенствѣ въ обыденности, въ ея зависти, ненависти, зломъ состязаніи.

Тамъ равенства не можетъ быть, никогда не было и не будетъ.

ТОВАРИЩЪ ДОЗОРНЫЙ

Мнѣ было тогда двадцать лѣтъ, я жилъ у сестры въ ея орловскомъ имѣннн. Какъ сейчасъ помню, понадобилась мнѣ лишняя полка для книгъ. Сестра сказала:

— Да позови Костина...

Вечеромъ Костинъ пришелъ, взялъ заказъ. Мы разговорились, заинтересовались другъ другомъ и вскорѣ стали какъ бы пріятелями.

Онъ былъ мой ровесникъ. Помимо наслѣдственного ремесла, — его покойный отецъ тоже столярничалъ, — онъ имѣлъ еще и другое: самоучкой одолѣвъ грамоту, онъ добился того, что попалъ помощникомъ учителя въ школу, построенную возлѣ церкви моимъ шуриномъ, и даже переселился въ нее, оставивъ мать, старшаго брата и сестру въ избѣ на деревнѣ, такъ какъ уже стыдился мужицкой жизни, а кромѣ того еще и потому, что старшій братъ, человекъ хозяйственный, спокойный и здравый, считалъ его круглымъ дуракомъ. И точно, былъ онъ довольно страненъ.

Онъ былъ очень высокъ и миловиденъ, слегка заикался и, какъ многіе заики, цвѣтъ лица имѣлъ дѣвичій и поминутно всдыхивалъ румянцемъ. Робокъ и за-

стѣнчивъ онъ былъ вообще на рѣдкость, больше секунды глядѣть въ глаза собесѣднику никакъ не могъ. Сразу было видно, что онъ живетъ въ какомъ-то своемъ собственномъ мірѣ, что онъ втайнѣ снѣдаемъ необыкновеннымъ самолюбіемъ, страшной обидчивостью и мучительной завистью совершенно ко всему на свѣтѣ, изъ которой проистекало его другое удивительное свойство: ненасытное, чисто идиотическое любопытство и обезьянство.

Видѣться и говорить съ нимъ было въ сущности томительно. Онъ не говорилъ, а только все спрашивалъ. Вся его рѣчь состояла изъ однихъ настойчивыхъ и подробныхъ разспрашиваній, выпытываній: что, какъ и почему? Онъ съ наслажденіемъ повторялъ всякій отвѣтъ и тотчасъ же ставилъ слѣдующій вопросъ. Держить какую-нибудь вещь, взятую для работы, для поправки или уже сработанную и принесенную, внимательно оглядываетъ ее, ощупываетъ, гладитъ своими большими руками — и мучитъ васъ: разспрашиваетъ буквально обо всемъ, чего бы случайно ни коснулся разговоръ, повторяетъ съ удивленной и довольной улыбкой отвѣты и, видимо, даже на мгновение не сомнѣвается, нужно это ему знать или не нужно. Притомъ онъ свято вѣрилъ положительно всему, что ни скажи. Я разъ пошутилъ, — въ Америкѣ всѣ внизъ головами ходятъ, даже волосы у всѣхъ висятъ: онъ съ удовольствіемъ изумился, повторилъ и повѣрилъ. Вообще шутокъ онъ не понималъ и не чувствовалъ совершенно.

И съ утра до вечера, каждую свободную минуту, онъ чему нибудь учился, неустанно обезьянничалъ: что ни увидитъ, что ни узнаетъ, всему учится, всему

подражаетъ и всегда безталанно, хотя и довольно точно. Чего только не умѣлъ онъ! Поправлялъ часы и гармоньи, мой велосипедъ и лавочниковъ аристонъ, переплеталъ книги и налаживалъ перепелиныя дудки, на жилейкахъ тайкомъ учился играть и стихи писалъ. . . Всего и не упомнишь. . .

Конечно, онъ не пилъ, не курилъ, — тутъ его обезьянство уступало той женственности, которая отличала его натуру и, кстати сказать, производила впечатлѣніе довольно таки непріятное; одѣвался со скромной нарядностью, — тонкіе сапоги, пиджачекъ, вышитая косоворотка, новенькій картузь, — и даже носовой платокъ носилъ съ собой. Въ рукахъ неизмѣнно желѣзный костыликъ.

Школа стояла рядомъ съ церковной караулкой. Въ большіе праздники мужики, приходившіе къ обѣднѣ, дожидались службы, курили и вели оживленные бесѣды всегда въ караулкѣ. Костинъ являлся туда раньше всѣхъ и внимательно слушалъ все, что говорилось, самъ однако въ разговоръ не вступая, сидя въ сторонкѣ, внимательно что-нибудь разглядывая, — скалку, утюгъ, зазубренный топоръ, — и тая на губахъ чуть замѣтную довольную усмѣшку надъ мужицкой глупостью и болтливостью.

Я часто заходилъ къ нему по вечерамъ: всегда дома и всегда что-нибудь прилежно работаетъ. Горитъ тусклая лампочка на столѣ, а онъ сидитъ, гнется возлѣ нея. Косоворотка навыпускъ, подпоясана шелковымъ жгутомъ съ мохрами. Лицо чистое, худощавое, но круглое, глаза съ бѣлесой зеленью, свѣтложелтые волосы, примасленные и причесанные на косою рядъ, падаютъ прядью на лобъ. Увидя меня, дружелюбно

оживляется и тотчасъ-же, слегка заикаясь и избѣгая глядѣть въ глаза, пускается въ разспросы. Иногда вынимаетъ изъ стола тетрадку и подаетъ мнѣ:

— Йесть новенькіе. Прочтите и обкритикуйте.

Я развертываю и читаю:

Рѣзвая струя въ лугахъ бѣжитъ,
Есть у нея удачное названье,
Какъ только пловца заманить,
А онъ погибнетъ безъ сознанья. . .

— Это опять акростихъ?

— Аккростихъ. Выходить: ррѣка. Только, конечно, ять нельзя вставить. . .

Хорошо помню, какъ я зашелъ къ нему въ послѣдній разъ.

Была поздняя осень, роковые дни для него и для меня — вотъ-вотъ надо было ѣхать въ городъ, ставиться въ солдаты. Наступила Казанская, оставалась всего недѣля нашей свободы. Утромъ, чѣмъ свѣтъ, я, помню, пошелъ къ обѣднѣ, зашелъ въ караулку: еще горитъ лампочка, караулка полнымъ полна расцвѣченными дѣвками, бабами, мужиками и накурена, какъ овинь; мужики галдятъ, а бабы и дѣвки все поглядываютъ на нары подъ полатами, шепчутся и покатываются со смѣху, валятся другъ на друга; предметъ смѣха — обычный: Костинъ; онъ-же сидитъ, опустивъ глаза, и что-то разглядываетъ; на головѣ высокая шапка сѣраго барашка, на сапогахъ новыя глубокія калоши, одѣтъ въ новую теплую поддевку чернаго сукна, лицо алое отъ обиды, но на губахъ улыбочка. . .

А вечеромъ я побрелъ къ нему въ школу. Грязь была страшная, тьма хоть глазъ выколи. Сверху сыпалась

и сыпалась мельчайшая мга. Я шель черезъ садъ какъ слѣпой, чувствуя только одно — тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрыхъ деревьевъ, ихъ коры и щекочущую влажную пыль на лицѣ. Наконецъ забѣлѣлъ туманный огонекъ впереди — знакомая лампочка на столѣ возлѣ окна въ школѣ — одинокій, единственный свѣтъ во всемъ селѣ, уже давно спящемъ мертвымъ сномъ. Костинъ спокойно сидѣлъ за работой — съ явнымъ удовольствіемъ оклеивалъ тонкими пластинками фанеры чью-то шашечную доску. А на его работу тупо и странно-весело, блестящими кофейными глазами, смотрѣла сидѣвшая за партой возлѣ стѣны небольшая бабочка съ кудряшками на крутомъ лбу, молодая жена церковнаго сторожа, — совсѣмъ бы ничего себѣ бабочка, если бы не ничтожный носикъ съ заячьими маленькими ноздрями. Мнѣ было не по себѣ, и я, притворяясь небрежнымъ и шутивнымъ, заговорилъ о томъ, что меня томило, — о поѣздкѣ въ городъ. Но, къ крайнему моему удивленію, Костинъ совершенно не раздѣлилъ моихъ чувствъ: напротивъ, его эта поѣздка очень интересовала и потому радовала.

— Ахъ, ннѣтъ, — сказалъ онъ, съ увлеченіемъ продолжая работать и отъ этого почти не заикаясь: — я бы, кажется, попроситься сталь, если бы меня не взяли. Надѣюсь непременно попасть въ Царство Польское. Два шага до Ппарижа!

И вдругъ прибавилъ, кивая головой на свою молчаливую и все только тупо улыбающуюся гостью:

— Вотъ она, по глупости, тоже оплакиваетъ меня. Говорить, — влюбилась. А съ какой стороны она можетъ быть мнѣ интересна?

Гостья страшно покраснѣла, смутилась и трогательно-неловко отвѣтила:

— Ужъ хоть-бы не брехалъ-то! Дюже ты мнѣ надобень!

Онъ только небрежно усмѣхнулся.

Черезъ недѣлю мы поѣхали съ нимъ ночью на станцію, къ шестичасовому поѣзду. Я взялъ его къ себѣ въ тарантасъ. Онъ всю дорогу неспѣша спрашивалъ меня на счетъ военной службы въ другихъ странахъ, а тарантасъ качался въ темнотѣ и туманѣ, невидимыя лошади шлепали по лужамъ, оступались въ колдобины, полныя воды и грязи. Передъ станціей стало трудно и угрюмо свѣтать, стали, приближаясь, обозначаться мутныя холодныя деревья въ станціонномъ дворѣ. . . Помню, долго ждали поѣзда, наконецъ показался вдали, въ мертвенно блѣдномъ разсвѣтномъ туманѣ, бѣлый, тяжело и густо клубящійся дымъ, потомъ чернѣйшій паровозъ, медленно выплывающій изъ мглистаго моря осеннихъ полей. . . И еще почему-то помню: рядомъ съ тѣмъ вагономъ, въ который мы сѣли, былъ арестанскій вагонъ съ желѣзными рѣшетками въ квадратныхъ окошечкахъ, и возлѣ одного окошечка стоялъ, держась за рѣшетку руками въ кандалахъ, худой старикъ въ пэнснэ на горбатомъ носу, съ красными вѣками; и очень страннымъ казалось это пэнснэ въ соединеніи съ каторжной фуражкой, съ сѣрымъ блиномъ безъ козырька. . .

А въ городѣ было великое множество деревенскаго народа, съ громкимъ и озабоченнымъ говоромъ идущаго серединой улицы, возлѣ же земской управы, гдѣ шель пріемъ, весь день стояла густая толпа, и чего только въ этой толпѣ не было! Плачь, вой, причитанія,

крики годныхъ, буйно и отчаянно дерущихъ свои гармоньи, — вся та дикая и жуткая балаганщина, въ которую русскій человѣкъ съ наслажденіемъ облакаетъ свое горе, всячески разжигая его въ себѣ. А въ приемной залѣ, отъ самой входной двери, которая поминутно отворялась, въ которую несло ледяной сыростью, и до самаго присутственнаго стола, откуда раздавался необыкновенно звучный выкликающій голосъ воинскаго начальника, тянулась страшная шеренга голыхъ тѣлъ, — коротконогихъ, худыхъ (но неизмѣнно пузатыхъ), мѣловыхъ, съ коричневою сыпью отъ укусовъ таракановъ на кострецахъ, тамъ, гдѣ у каждаго на тѣлѣ была полоса отъ постоянно врѣзающейся оборки портокъ. Мы съ Костинымъ пробрались впередъ и тоже стали раздѣваться. Воинскій начальникъ, стоявшій за столомъ, въ кругу присутствія, передъ серебряной пирамидой съ Распятіемъ, быстро взглянулъ на меня и что-то крикнулъ особенно звучно. Онъ былъ молодъ, красивъ, затянуть въ мудиръ, преисполненъ энергіи; короткіе волосы его курчавились, длинные кудрявые усы торчали, свѣтлые глаза зоркимъ огнемъ освѣщали лицо. Костинъ, сидя и стягивая съ себя сапогъ, замеръ и, весь алый отъ натуги и волненія, радостнымъ шепотомъ спросилъ меня:

— Онъ самый главный и есть?

Черезъ часъ его забрили. А черезъ полмѣсяца мы съ нимъ разстались — и очень надолго, на цѣлыхъ двадцать лѣтъ. Встрѣтились-же снова такъ:

Была осень девятнадцатаго года. Наша армія только что оставила К. Я по нѣкоторымъ причинамъ задержался на нѣкоторое время, скрываясь всѣми правдами и неправдами подъ видомъ самаго дряннаго му-

жиченка. А городъ уже наполнялся большевицкими властями и учрежденіями, вступавшими войсками и обозами, и чекисты, во главѣ съ какимъ-то товарищемъ Дозорнымъ, уже работали не покладая рукъ. Въ ледяной солнечный день я шелъ однажды на главную улицу. Прошелъ мимо собора, глядя на голый городской садъ, чернѣвшій напротивъ него, потомъ пошелъ по тротуару вдоль бывшихъ присутственныхъ мѣстъ, увѣшанныхъ красными флагами. Передъ этими присутственными мѣстами тянется площадь и идетъ дорога подъ гору, къ мосту черезъ рѣку. И вотъ, въ ту минуту, когда я только что поравнялся съ подъѣздомъ бывшей судебной палаты, изъ-подъ горы вырвался и полнымъ махомъ прямо на меня понесся небольшой конный отрядъ, а за нимъ — длинный могучій сѣрый автомобиль. Все это появилось такъ неожиданно и очутилось возлѣ поѣзда такъ мгновенно, что я невольно приостановился. Изъ машины-же, межъ тѣмъ, уже выскакивалъ высокій человекъ въ бѣлой папахѣ, въ чудесной офицерской поддевкѣ съ бѣлымъ барашковымъ воротникомъ и необыкновенно щегольскихъ офицерскихъ сапогахъ. Блѣдное кошачье лицо его съ желтыми усами было оживлено быстрой ѣздой, бѣлесые глаза расширены. Онъ глянулъ — и бѣгомъ кинулся ко мнѣ.

— Нниколей Николаевичъ, вы? — слегка задохнувшись, быстро спросилъ онъ меня и до глазъ залился алымъ румянцемъ.

И, не давъ мнѣ отвѣтить и мучительно заикнувшись, прибавилъ:

— Йя Костинъ-Дозорный. . . И ннаслышанъ про васъ. . . Такъ что ужъ — простите!

И обернувшись къ двумъ башкирамъ, съ винтовками въ рукахъ сидѣвшимъ на машинѣ, крикнулъ, вбѣгая въ подъѣздъ:

— Въ садъ!

Меня скорымъ шагомъ, даже не обыскавъ, провели черезъ площадь въ садъ, а черезъ садъ — къ обрыву надъ рѣчными оврагами и крикнули:

— Задомъ къ рѣчкѣ!

Я сталъ и, мгновенно выхвативъ револьверъ изъ кармана зипуна, въ упоръ ударилъ въ нагайскую рожу, стоявшую слѣва, и тотчасъ-же задомъ упалъ съ обрыва. Вторая рожка выстрѣлила по мнѣ, потомъ сдуру кинулась назадъ, за подмогой. Я сломалъ себѣ руку, а все таки ушелъ.

МУХИ

Прокофій лежитъ на нарахъ подъ палатами уже третій годъ: отнялись, высохли ноги.

Деревня въ завалѣ, по косорогамъ надъ оврагами. Мѣста глухія, Богомъ забытыя. Да еще рабочая пора. Окрестныя поля, усѣянныя копнами, голы и желты, похожи на песчаную пустыню, а въ деревнѣ ни души, только старики и дѣти. Нагоняя дремоту, поють пѣтухи. Скучно, какъ тоскующій нѣмой, мычитъ на выгонѣ теленокъ. Въ тѣни отъ пунекъ дремлютъ, смахивая съ ушей мухъ, собаки. На порогахъ жаркихъ избъ попискиваютъ, поклевываютъ циплята. Тускло печетъ солнце, и съ востока, изъ-за покатыхъ полей, все собирается, синѣетъ и все ничѣмъ не разрѣшается молчаливая тучка.

И день за днемъ лежитъ онъ въ этой тишинѣ и скукѣ. Былъ я у него въ прошломъ году въ эту же пору, былъ нынѣшней весной и вотъ опять заѣхалъ. Все то же: въ избѣ полутемно, жарко, на столѣ хлѣбы, прикрытые рванымъ армякомъ; на этомъ армякѣ, на стеклахъ и по стѣнамъ кипятъ несмѣтныя мухи, — просто все черно отъ мухъ, — а онъ лежитъ на нарахъ, головой къ боку печки, до пояса прикрытый старой пѣ-

гой попоной, и, усмѣхаясь, курить трубку. Посасываетъ и усмѣхается. Подъ попоной — его неподвижныя ноги. Онѣ такъ противоестественно тонки, такъ не пріятны и страшны даже черезъ полосатыя портки, что я успѣшилъ отвести глаза, когда онѣ откинулъ попопу и показалъ мнѣ ихъ. А онѣ еще пошутилиъ:

— Посмотрите-ка, что дѣлается! Не ноги, а коклюшки! Хоть кружево плети!

Я сижу возлѣ нарѣ на перевернутомъ ведрѣ, кручу папироску и думаю о томъ, что вотъ черезъ полчаса я уѣду, а онѣ опять останутся въ этой избѣ, опять будутъ лежать да смотрѣть на противоположную стѣну, на черныя доски палатей, висящихъ надъ нимъ. Я ужасаюсь при одной мысли о такомъ существованіи, а онѣ лежатъ себѣ какъ ни въ чемъ не бывало и даже болѣе того, — чувствуетъ себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпѣніе? Восточная покорность судьбѣ? Святость? Нѣтъ, все не то. Ничего святого въ его лицѣ нѣтъ, — обыкновенное лицо мужика среднихъ лѣтъ, поражающее только ясностью и бодростью глазъ. И онѣ усмѣхаются и говорятъ:

— Вѣрите-ли, — когда меня переносятъ на коникъ, чтобы значить, тутъ перестлать, оправить, мнѣ самому чудно глядѣть на эти ноги, до того они маленькія, ребячьи. Главное дѣло, волочатся совсѣмъ какъ чужія. . .

Мнѣ нестерпимо даже думать объ этихъ ногахъ. А онѣ сосетъ трубку и, отмахиваясь отъ мухъ, откидывая со лба длинныя волосы, шутить и надъ волосами:

— Ишь, обросъ! Хоть въ архиереи постригай!

Чтобы перемѣнить разговоръ, я говорю:

— Ну и мухъ у васъ, Прокофій!

Онъ оживленно подхватываетъ:

— Мухъ? Содомъ! Я ихъ съ утра до вечера мну, великія тысячи помялъ. Плюну на стѣну, онѣ насядутъ роємъ, а я ихъ и мну. Палкой. Такъ сбоку меня и лежитъ.

И онъ шаритъ правой рукой по постели и показываетъ мнѣ точно смолой вымазанную палку. Въ смолѣ и стѣна: вся въ мушиномъ тѣствѣ.

— Да что-жъ, — говоритъ онъ, — не будь ихъ, что бы я могъ дѣлать? А тутъ весь день занять.

— Ну, а еще что-жъ ты дѣлаешь?

— А что-жъ еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю.

— О чемъ?

— Да, конечно, такъ, пустяки, о чемъ придется. Объ хозяйству мало теперь сталъ думать. Придутъ съ поля, начнутъ рассказывать, а я какъ-то безъ вниманія. Нужды у насъ, сами знаете, нѣту, ну, и не думается. Думаю больше о прежнемъ, когда здоровый, молодой былъ.

— Ахъ, Прокофій, — говорю я, не выдержавъ, — все таки какъ это ужасно то, что случилось съ тобой!

Но онъ спокойно глядитъ мнѣ въ глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, баринъ, это только мнѣніе. Это вамъ только такъ кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня, что-жъ бы вы сдѣлали? Лежали бы себѣ да лежали. Здоровому, понятно, думается утѣшить себя разными разностями, побогаче стать, передъ людьми погордиться, а легъ — и мухамъ радъ. Вы вотъ наровите какъ бы что придумать получше, а я какъ бы побольше мухъ помять. И все одна честь,

одно удовольствіе. И смерть то-же самое. Кабы она ужъ правда была такъ страшна, никто и не умиралъ бы, никогда бы Господь такой муки не допустилъ. Нѣтъ, это только одно мнѣніе. . .

Черезъ полчаса я прощаюсь съ нимъ, выхожу изъ избы и сажусь на лошадь со страннымъ чувствомъ какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ все хорошо, все слава Богу и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малымъ? Какъ пріятно, напримѣръ, поставить ногу въ стремя, нажать на него и, перекинувъ другую ногу черезъ сѣдло, почувствовать подъ собою его скользкую кожу и живое движеніе сильной молодой лошади! Тронувъ поводъ, я крупнымъ шагомъ ѣду по выгону. Затихло въ деревнѣ еще больше. Даже пѣтухи смолкли и теленокъ лежитъ и дремлетъ, прикрывъ свои крупныя бѣлыя рѣсницы. Ѣду вдоль избы, мимо ихъ жарко блестящихъ противъ предвечерняго солнца оконъ, поворачиваю за уголь крайней избы, поднимаюсь проселкомъ на изволокъ, въ степь. . . Вотъ уже потянуло навстрѣчу сухимъ и сладкимъ вѣтеркомъ и открывается впереди безконечная равнина, далекіе горизонты іюльскихъ полей, пустынная желтизна которыхъ переходитъ въ чуть видныхъ даляхъ въ нѣчто прелестное, манящее, смутно-сиреневое. . .

Да, а Прокофій лежитъ, и у него свои радости. Когда я всталъ, покидая его, вѣроятно, еще на годъ, онъ просто и весело подаль мнѣ руку и пожалъ ее. И пожалъ совсѣмъ не по-прежнему, совсѣмъ не такъ, какъ бывало: не одними концами пальцевъ, бывшихъ прежде не гибкими и корявыми, не съ мужицкой неловкостью и несмѣлостью, а всей дланью, съ пріятной

и дружеской силой и, главное, совѣмъ какъ равный равному. И, кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего онъ все таки тѣлесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгіе дни одинокаго лежанья подъ палатами и сокровенныя мысли, соединенныя съ непрестанной забавой истребленія мухъ, перешедшей уже въ чисто охотничью страсть, почти въ цѣль жизни: вотъ, молъ, завтра, Богъ дастъ, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странныя мысли! Давить, мнетъ мушиные рои — и со спокойной таинственностью созидаетъ въ глубинѣ своего существа какую-то страшную, а вмѣстѣ съ тѣмъ радостную мудрость... Мудрость-ли это, или же просто какой-то ясноокій идиотизмъ? Блаженство нищихъ духомъ, или безразличіе отчаянія?

Ничего не понимаю, ѣду и смотрю въ даль.

9. VI. 24

СОСѢДЪ

Одна изъ вечернихъ прогулокъ. . .

Ясный апрѣльскій закатъ, еще не набитый сѣрый проселокъ, весенняя нагота полей, впереди еще голый зеленоватый лѣсъ. Ъду на него, спокойно и распущенно сидя въ сѣдлѣ.

Отъ перекрестка беру къ лѣсу цѣликомъ, по широкой межѣ, по грани среди жнивья. Она вся зеленая, но еще по весеннему мягкая, — чувствуется, какъ вдавливается въ нее копыто. А возлѣ лѣса, на жнивьяхъ подъ опушкой, еще тянется длинный островокъ нечистаго и затвердѣвшаго снѣга. И ярко-голубые подснежники, — самый прелестный, самый милый въ мірѣ цвѣтокъ, — пробиваются изъ коричневой, внизу гніющей, влажной, а сверху сухой листвы, густо покрывающей опушку. Листва шумно шуршитъ подъ копытами, когда я въѣзжаю въ лѣсъ, и нѣтъ ничего радостнѣе этого напоминанія о прошлой осени въ соединеніи съ чувствомъ весны.

Шуршитъ и лѣсная дорога, — она тоже вся подъ листвой, — и далеко слышно это шуршанье по лѣсу, еще сквозному, раскрытому, а все таки уже не зим-

нему. Лѣсъ молчитъ, но это молчаніе не прежнее, а живое, ждущее. Солнце сѣло, но вечеръ свѣтлый, долгій. И Тамара чувствуетъ всю эту весеннюю красоту не меньше меня, — она идетъ особенно легко, поднявъ шею и глядя впередъ, въ далеко видную и еще просторную сѣроватую чащу стволовъ, кругами идущихъ намъ навстрѣчу, выглядывающихъ другъ изъ-за друга. Внезапно, какъ колъ, свалилась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и съ размаху сѣла на березовый пенъ, — просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячимъ окомъ глянула кругомъ: здравствуй, молъ, лѣсъ, здравствуй, вечеръ, даже и я теперь не та, что прежде, готова къ веснѣ и любви! И какъ бы одобряя ее, на весь лѣсъ раскатился гдѣ-то близко торжествующимъ цоканьемъ и трескомъ соловей. А подъ старыми березами, сквозящими своей кружевной наготой на сѣроватомъ, но легко и глубоко вечернемъ небѣ, уже торчатъ тугія и острия глянцевиито-темнозеленыя трубки ландышей.

Переѣзжая низы, смотрю вбокъ, вдоль оврага, густо заросшаго грифельнымъ безлиственнымъ осинникомъ, — тамъ за лѣсомъ нѣжно, слабо разлился погожій закатъ. По дну оврага, среди темной чащи, среди подсъда орѣшниковъ, падаетъ съ уступа на уступъ, журчитъ и холодно булькаетъ еще не изсякшій паводокъ. Самый вальдшнепиный притонъ этотъ оврагъ! Потомъ, все такъ-же шумно нарушая весеннюю тишину лѣса шуршаніемъ копытъ въ листьѣ, поднимаюсь ко лѣсной дорогѣ въ гору, по глубокимъ глинистымъ колеямъ, промытымъ половодьемъ. Потомъ ѣду по широкимъ полянамъ, гдѣ стоятъ, красуются, въ отдаленіи другъ отъ друга, вѣковые вѣтвистые дубы.

Широчайшая плотина лежитъ между двумя великолѣпными прудами, молчаливо отражающими въ своихъ зеркалахъ эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки, — запущенные остатки безконечнаго фруктоваго сада, разрушенныхъ службъ, отъ которыхъ мѣстами уцѣлѣли только груды кирпичей, заросшихъ бурьяномъ, — и на половину вырубленная аллея столѣтнихъ тополей ведетъ на обширный дворъ. Прежде каждаго вдушаго по этой аллеѣ издалека встрѣчалъ страшный, гремящій по всему окрестному лѣсу лай знаменитыхъ дубровскихъ овчарокъ. Теперь я вду среди мертвой тишины. Направо и налево — все яблони и яблони, старья, раскидистыя, приземистыя. Венера на свѣтломъ западѣ такъ великолѣпна, что на землѣ подъ яблонями отъ нея серебрится. И бѣлѣтъ впереди, на пустынномъ дворѣ, небольшой домикъ подъ тесовой крышей: это прежняя господская контора, въ которой и живетъ теперь наследникъ Дубровки.

Дворъ передъ конторой переходитъ прямо въ поле, сливается съ равниной, за которой прозрачно алѣтъ на горизонтѣ луна. И хозяинъ стоитъ на крыльцѣ, курить и исподлобья смотреть на нее. Приподнявъ картузь, я хочу повернуть въ поле, но, завидѣвъ меня, онъ поднимаетъ руку:

— Halte! Штрафъ за проѣздъ черезъ чужія владѣнія! Стаканъ чаю!

Дѣлать нечего, — притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, отъ чаю отказываюсь, но все таки слѣзаю съ сѣдла, и Тамара идетъ по двору къ водопойному корыту, а мы направляемся навстрѣчу другъ другу.

— Bonsoir, mon cher, voisin, comment allez-vous?
— говорить хозяинъ. — Une petite promenade? Вотъ и я тоже, — стою и люблюсь красотами природы, какъ Марій на развалинахъ Карфагена. . .

Ему лѣтъ тридцать, онъ очень худъ, темень лицомъ, давно небрить, у него стоячіе черно-агатовые глаза и страшно черная (коротко стриженная) голова подъ военнымъ картузомъ безъ кокарды. Онъ въ старыхъ валенкахъ, въ рейтузахъ и въ длинномъ сѣромъ пиджакѣ поверхъ грязной косоворотки. И онъ крѣпко жметъ мнѣ руку и ведетъ меня въ домъ, говоря, что самоваръ все равно готовъ и что онъ сейчасъ прикажетъ дать корму Тамарѣ.

— А вы хоть папиросу выкурите, — говорить онъ, — я, откровенно сказать, погибаю отъ скуки. . . Je ne sais pas comment je ne suis pas mort encore среди этой пастушеской идилліи. . .

Темныя сѣни отдѣляютъ бывшую контору отъ кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лѣтъ пятнадцати, съ двумя свѣтлыми жидкими косами на спинѣ, въ легкомъ ситцевомъ халатикѣ и стоптанныхъ мужскихъ туфляхъ, надѣваетъ трубу на самоваръ, изъ котораго и валитъ этотъ дымъ, необыкновенно густыми палевыми клубами.

— Vite, vite, Berthe! — кричитъ хозяинъ и вводитъ меня въ комнаты, безъ умолку продолжая говорить:

— C'est la fille de ma femme. . . то есть бывшей конечно. . . Вы у меня тысячу лѣтъ не были, но, разумѣется, всю эту исторію отъ досужихъ сосѣдей уже слышали. . . Эту дѣвицу моя благовѣрная прикинула мнѣ въ наслѣдство. . . Dame! Я ничуть не въ претензіи, — прекрасной компенсаціей служить то, что муд-

рый нѣмецкій Богъ наодумилъ таки ее наконецъ сбѣжать отъ меня. Вы вѣдь знаете, болѣе нелѣпой женитьбы, чѣмъ моя, самъ Мефистофель не могъ бы придумать. . . Чортъ знаетъ, гдѣ — въ какомъ-то Ревелѣ, чортъ знаетъ почему. . . *Vrai, je ne sais pas comment cela m'est arrivé. . .* Попалъ въ циркъ, увидалъ рыжую наѣздницу, — и, замѣтте, далеко не первой молодости, — и черезъ недѣлю женатъ. . . Глупо до восхищенія, до *pes plus ultra!*

Комнатъ всего двѣ, — «salon» и «chambre à coucher», какъ иронически говоритъ хозяинъ, вводя меня и извиняясь за ихъ «лирической безпорядокъ». «Салонъ» раздѣленъ деревянной перегородкой, за которой живетъ барышня. Въ спальнѣ большая, не по комнатѣ, кровать краснаго дерева, покрытая мѣщанскимъ одѣяломъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ, на одѣялѣ валяется балалайка. Въ «салонѣ» стопудовый кожаный диванъ, изъ котораго торчатъ клоки мочалы и горбами выпирають пружины, въ простѣнкѣ дивное овальное зеркало, а подъ зеркаломъ — грузный письменный столъ, на зеленомъ сукнѣ котораго стоитъ недопитый стаканъ молока и лежатъ огрызки сѣрыхъ лепешекъ, счеты, махорка въ надорванномъ пакетикѣ и ржавая конская подкова. Въ комнатахъ сумерки, — окна ихъ глядятъ на востокъ, въ поле. Входимъ, садимся, — хозяинъ въ кресло возлѣ стола, а я на диванъ, — и принимаемся вертѣть папиросы. Выдумывать разговора не надо, — хозяинъ ни на минуту не прекращаетъ своей отрывистой скороговорки:

— Не хотите ли свернуть изъ моего антрацита? Впрочемъ, не неволю, это, знаете, дѣйствительно, на любителя! *C'est affreux*, но что-же дѣлать? А я, какъ

видите, во всей усадьбѣ соло. Распустилъ кабинетъ. Остался одинъ работникъ, — анекдотическій болванъ! Вообразилъ себя моимъ закадычнымъ другомъ и по сему случаю пьянствуетъ безъ просыпу. Вотъ и сейчасъ дрыхнетъ и угадайте, гдѣ? Вотъ за этой перегородкой! Терплю, — времена демократическія! А все таки и его придется прогнать. И вообще — охъ ужъ мнѣ эти милые поселяне! Право, они только въ опереткахъ хороши. Я съ ними росъ, я самъ, можно сказать, на половину хамъ, полукривокопъ, — вѣдь, какъ изволите знать, ма раинге мѣне была всего на всего бѣглая дворовая дѣвка, — но, позвольте спросить, что у меня съ ними общаго? Хозяйство? Но какое къ черту хозяйство при такомъ бамбуковомъ положеніи? Кромѣ того лично для меня это совершенно сто двадцать пять буквъ китайской грамоты! Вы скажете, зачѣмъ-же я въ такомъ случаѣ сижу на этомъ Чортовомъ Островѣ, почему не продолжаю служить? Но какъ служить, не имѣя средствъ? Быть въ полку паріемъ? — Да, но позвольте! Про лошадь-то вашу мы совсѣмъ забыли! Надо приказать дать ей корму. . .

Я знаю, что корму нѣтъ, — есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станетъ ѣсть, — и мнѣ уже очень хочется уѣхать. Я благодарю хозяина за радушіе и прошу прощенія, говорю, что, къ сожалѣнію, долженъ сейчасъ проститься, что не стоитъ беспокоиться, что я далъ слово быть къ ужину дома. Но онъ не слушаетъ, проситъ выкурить еще одну папиросу и, забывъ о кормѣ, опять пускается въ бесѣду. И я опять курю и опять слушаю, какъ вдругъ онъ снова тревожно вспоминаетъ о Тамарѣ:

— Да нѣтъ, какъ хотите, а ей надо хоть клокъ со-

ломы бросить! Митька! Ты тутъ? — кричитъ онъ, обращиваясь къ перегородкѣ.

Изъ-за перегородки слышенъ сонный, медлительный голосъ:

— Ту-та. Я ля-жу.

— Вставай, поди уברי лошадь, — гость пріѣхалъ.

— Я пья-най. . .

— Я тебѣ говорю вставай!

— Вин-ца прежде да-ай. . .

— Каково ископаемое? — говоритъ хозяинъ съ торжествующей усмѣшкой, и кричитъ въ сѣни, въ открытую дверь:

— Berthe, дай Митькѣ стаканъ водки! А васъ, mon cher voisin, покорнѣйше прошу полюбоваться на это животное!

И онъ встаетъ и широко открываетъ створчатыя двери перегородки. Я заглядываю: за перегородкой свѣтлѣе, тамъ окошечко выходитъ на западъ, и хорошо видно лежащаго внизъ лицомъ на желѣзной кровати малаго съ бѣлыми волосами, съ большимъ мягкимъ задомъ, въ новой розовой смятой рубахѣ, подпоясанной почти подъ мышки зеленымъ пояскомъ.

— Полюбуйтесь! — говоритъ хозяинъ. — Какого вамъ еще больше равенства?

А по салону, нагнувъ голову, не глядя на меня, быстро проходитъ къ шкафчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсѣмъ рѣшительно:

— Нѣтъ, дорогой, оставьте его въ покоѣ. Я все равно долженъ сейчасъ ѣхать. Простите, пожалуйста, пріѣду, если позволите, въ другой разъ.

И хозяинъ наконецъ сдается:

— Allons bon! Не хочу разыгрывать демьянову уху! Но пройдемся хоть по саду. Скука въ эти безконечные вечера, повторяю, адова!

И мы выходимъ изъ дому, обходимъ его и идемъ по широкой дорожкѣ между яблонями на тонкій свѣтъ позеленѣвшаго заката и на низкую играющую розовымъ огнемъ Венеру. Хозяинъ разглядываетъ мой високъ и усмѣхается:

— Однако, мы съ вами конкурируемъ въ сѣдинѣ! Ну да не бѣда, сѣдые бобы дороже! Вотъ развѣ женскій вопросъ. . . Впрочемъ, тутъ Елень Прекрасныхъ мало. Какая нибудь «идейная» сельская учительница? Сбитые каблуки, потныя отъ застѣнчивости руки. . . Вообще, не выношу провинціальныхъ дѣвицъ! И фразы-то у нихъ у всѣхъ трафаретныя: «Ну какъ вамъ нравится нашъ городъ? Видѣли наши достопримѣчательности?» — Есть, впрочемъ, здѣсь одна въ моемъ жанрѣ — и, вообразите, кто? — дочь станового! Ножка узенькая, прелестныя сильныя икры, въ глазахъ этакое кашѣ. . . *Je lui plais, j'en suis certain. . . je parie qu'elle tomberait volontiers dans mes bras*, если, конечно, повести правильную осаду. . . *C'est une affaire de huit jours. . .* Я вамъ покажу ее, если скоропостижно не сбѣгу въ Петербургъ, заложивъ чорту хотя бы душу. На меня нападаетъ здѣсь форменный страхъ смерти, а вѣдь вы знаете, что у меня порокъ сердца, острая неврастенія и прочая, прочая. . . Въ Петербургѣ, если и подохнешь внезапно, все легче. Я уже завѣщаль похоронить меня непременно на Балтійскомъ вокзалѣ. Если бы вы знали, сколько воспоминаній связано у меня съ этимъ вокзаломъ!

Темнѣть. Венера переливается на горизонтѣ за темной равниной уже пурпурнымъ огнемъ. Слабо обозначаются тѣни подъ яблонями, — луна за домомъ уже свѣтитъ, — и уже совсѣмъ свѣжо пахнетъ весенней землей. Вдали стонетъ пустошка, — стонетъ грустно, нѣжно и звонко, — хорошо ей въ свѣжести и тишинѣ апрѣльской ночи въ этомъ старомъ фруктовомъ саду, выходящемъ прямо въ поле! А хозяинъ говорить, говорить:

— Теперь единственная радость моей жизни — мой еще не законченный романъ, начавшійся годъ тому назадъ въ Царскомъ Селѣ. . . Ахъ, если бы вы знали, что это за женщина! Она замужемъ за нашимъ полковымъ командиромъ. . . Такой милый стариканъ, прелесть! Недавно переведенъ въ Литовскій полкъ, въ Нарву. . . Она мнѣ часто говоритъ: «Ah! si mon mari mourait! Que j'aimerais passer avec toi toute une nuit, m'endormir dans tes bras et me reveiller le lendemain sous tes baisers!» — Я зналъ еще ея отца, дѣйствительный статскій совѣтникъ, но не симпатичный, сухой человекъ! Мы съ ней переписываемся. Достаточно одной телеграммы — и она мгновенно будетъ тутъ. Но вы сами понимаете — могу ли я вызывать ее сюда, въ эту хижину дяди Тома!

Мы возвращаемся во дворъ и медленно идемъ къ Тamarѣ. Уже лунная ночь, уже луна поднялась надъ полемъ, и Тамара въ ея свѣтѣ стоитъ вдали чернымъ силуэтомъ, а подушка сѣдла, торчащаго на Тamarѣ, блеститъ.

— Сколько она крови мнѣ перепортила, ужась! — говоритъ хозяинъ съ восторгомъ. — Но зато сколько блаженныхъ минутъ! Отдалась безумно, дерзко. Од-

кажды, понимаете, у нихъ званый вечеръ, я приѣзжаю раньше всѣхъ, даже еще и мужа нѣтъ, она одна въ пустой гостиной — и... Elle ne songeait même pas qu'elle était en toilette qui risquait de se froisser... СРАЗУ понимаете: «Je t'aime! Fais de moi ce que tu veux! Je me moque de tout!» Вообще, чортъ знаетъ что, звѣриная страсть! А потомъ, конечно, сцены: «Tu ne m'estimes plus, je me suis donnée à toi trop spontanément!» — и бѣшенная ревность, хватанье за руки: «Tu es à moi, n'est - ce pas, n'est - ce pas?»

Тамара повернула голову при нашемъ приближеніи и тихонько радостно заржала, — очень соскучилась. Я ножалъ хозяину руку, съѣлъ и, обернувшись, помахалъ ему картузомъ. Онъ порывисто, поспѣшно затрясъ поднятой рукой. И Тамара сразу взяла полной рысью, прямо на луну, на свѣтлое поле, четко дробя копытами въ чистомъ и свѣжемъ воздухѣ...

ЛАПТИ

Пятый день несло непроглядной вьюгой. Въ бѣломъ и холодномъ хуторскомъ домѣ стоялъ блѣдный сумракъ и было большое горе: былъ тяжело боленъ ребенокъ. И въ жару, въ бреду онъ часто плакалъ и все просилъ дать ему какіе-то красные лапти. И мать, не отходившая отъ постели, гдѣ онъ лежалъ, тоже плакала горькими слезами, — отъ страха и отъ своей беспомощности. Что сдѣлать, чѣмъ помочь? Мужъ въ отъѣздѣ, лошади плохія, а до больницы, до доктора тридцать верстъ, да и не поѣдетъ никакой докторъ въ такую страсть. . .

Стукнуло въ прихожей, — Нефедъ принесъ соломы на топку, сваанлъ ее на полъ, отдуваясь, утираясь, дыша холодомъ и вьюжной свѣжестью, пріотворилъ дверь, заглянулъ:

— Ну что, барыня, какъ? Не полегчало?

— Куда тамъ, Нефедушка! Вѣрно, и не выживетъ! Все какіе-то красные лапти проситъ. . .

— Лапти? Что за лапти такіе?

— А Господь его знаетъ. Бредитъ, весь огнемъ горитъ. . .

Мотнулъ шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубокъ, разбитые валенки, — все въ снѣгу, все обмерзло. . . И вдругъ твердо:

— Значить, надо добывать. Значить, душа желаетъ. Надо добывать.

— Какъ добывать?

— Въ Новоселки итти. Въ лавку. Покрасить фуксиномъ не хитрое дѣло.

— Богъ съ тобой, до Новоселокъ шесть верстъ! Гдѣ-жъ въ такой ужасъ дойти!

Еще подумалъ.

— Нѣтъ, пойду. Ничего, пойду. Доѣхать не доѣдешь, а пѣшкомъ, можетъ, ничего. Она будетъ мнѣ въ задъ, пыль-то. . .

И, притворивъ дверь, ушелъ. А на кухнѣ, ни слова не говоря, натянулъ зипунъ поверхъ полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взялъ въ руки кнутъ и вышелъ вонъ, пошелъ, утопая по сугробамъ, черезъ дворъ, выбрался за ворота и потонулъ въ бѣломъ, куда-то бѣшено несущемся степномъ морѣ.

Пообѣдали, стало смеркаться, смерклося — Нефеда не было. Рѣшили, что, значить, ночевать остался, если Богъ донесъ. Обыденкой въ такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обѣда. Но оттого, что его все таки не было, ночь была еще страшнѣе. Весь домъ гудѣлъ, ужасала одна мысль, что теперь тамъ, въ полѣ, въ безднѣ снѣжнаго урагана и мрака. Сальная свѣча пылала дрожащимъ хмурымъ пламенемъ. Мать поставила ее на полъ, за отвалъ кровати. Ребенокъ лежалъ въ тѣни, но стѣна казалась ему огненной и вся бѣжала причудливыми, несказанно великолѣпными и грозными видѣніями. А порой онъ какъ-

будто приходилъ въ себя и тотчасъ же начиналъ горько и жалобно плакать, умоляя (и какъ будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебѣ стоять!

И мать кидалась на колѣни и била себя въ грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконецъ разсвѣло, послышалось подъ окнами сквозь гулъ и грохотъ вьюги уже совсѣмъ явно, совсѣмъ не такъ, какъ всю ночь мерещилось, что кто-то подвѣхалъ, что раздаются чьи-то глухіе голоса, а затѣмъ торопливый, зловѣщій стукъ въ окно.

Это были новосельскіе мужики, привезшіе мертвое тѣло, — бѣлаго, мерзлаго, всего забитаго снѣгомъ, навзничъ лежавшаго въ розвальняхъ Нефеда. Мужики вѣхали изъ города, сами всю ночь плутали, а на разсвѣтъ свалились въ какіе-то луга, потонули вмѣстѣ съ лошадью въ страшный снѣгъ и совсѣмъ было отчаялись, рѣшили пропадать, какъ вдругъ увидали торчащія изъ снѣга чьи-то ноги въ валенкахъ. Кинулись разгрѣбать снѣгъ, подняли тѣло — оказывается, знакомый человѣкъ. . .

Тѣмъ только и спаслись — поняли, что, значитъ, эти луга хуторскіе, протасовскіе, и что на горѣ, въ двухъ шагахъ, жилье. . .

За пазухой Нефеда лежали новенькіе ребячьи лапти и пузырекъ съ фуксиномъ.

СЛАВА

— Нѣтъ-съ, сударь мой, русская слава вещь хитрая! До того хитрая, что объ ней слѣдовало-бы цѣлое изслѣдованіе написать. Тутъ, по моему, даже одинъ изъ ключей ко всей русской исторіи. И вообще, вы меня простите, вы еще молодо-зелено. Вы лучше слушайте мое готовое. Я въ свободное время очковъ не снимаю, сорокъ лѣтъ сохну надъ книгами да и жизненный опытъ нѣкоторый имѣю, съ любимъ Ключевскимъ могу кое въ чемъ потягаться, — вы на то не глядите, что передъ вами второсортный букинистъ. А ужъ про этихъ Божьихъ людей и говорить нечего. Это даже моя специальность. Да вотъ вамъ нѣсколько фигуръ изъ этой галереи, и фигуръ не какихъ-нибудь баснословныхъ, незапамятныхъ, а совершенно достоверныхъ, современныхъ мнѣ.

— Вотъ вамъ, на примѣръ, Мужикъ Борода. Былъ онъ воронежскій. Много лѣтъ пребывалъ въ сравнительной безвѣстности. Какъ вдругъ счастливый случай. Пропадаетъ въ одно прекрасное утро у одного заштатнаго полковника орѣховая шкатулка. Полиція рыщетъ, съ ногъ сбивается — результату не малѣйшаго. Что дѣлать? Кидаются въ слободу, къ знахарямъ —

ими въ слободахъ подъ Воронежомъ, подъ Орломъ, подъ Курскомъ, подъ Тамбовомъ хоть прудъ пруди. Входятъ въ одинъ домикъ и застаютъ цѣлую ассамблею: стоитъ десятка два бабъ и со слезами умиленія смотрятъ на угодника. А угодникъ кушаетъ чай. Накрытъ въ красномъ углу столъ, на столѣ кипитъ самоваръ, а за столомъ — благодушный мужикъ, подпоясанный дѣтскимъ розовымъ пояскомъ, и съ бородой во всю грудь: посматриваетъ исподлобья ясными глазами и не отрываясь хлебаетъ, да не изъ чашки, не изъ стакана, а прямо изъ полоскательницы. Допьетъ, вытретъ рукавомъ потъ съ лысаго лба, облизнется и опять шепоткомъ приказываетъ:

— Наливай послаже!

До того, понимаете, упарился, что даже шепчетъ. И передняя баба, самая видная и красивая, опрометью кидается къ столу, наливаетъ полоскательницу съ краями, наваливаетъ сахару и опять назадъ: стоитъ, плачетъ и смотритъ. А онъ опять дуетъ, какъ телокъ.

— Что за человекъ?

— Божій человекъ, ваше благородіе. Чай кушаютъ, только и всего.

— Ты кто такой?

Отвѣчаетъ, ничуть не робѣя:

— Я-то? Мужикъ Борода. Чай люблю.

— Можешь одну кражу разгадать?

Схлебываетъ и этакой скороговоркой:

— Гадаю, милый, только на тощее сердце. До завтра, до утречка повремени.

На другой день забираютъ его съ ранняго утра, ведутъ къ полковнику, заставляють гадать.

— Нѣтъ, говорить, такъ не годится. Родители учили не такъ. Помолиться сперва надо. Молитесь. Всѣ молитесь.

Всѣ молятся: приставъ, квартальный, городовые, полковникъ и вся его семья, всѣ шесть дочерей. Даже бабушку, и ту привели. Но послѣ молитвы оказывается, что гадать Мужикъ Борода — не умѣетъ. Выталкиваютъ, натурально, въ шею, но что-же вы думаете? Слава этой бороде начинается съ тѣхъ поръ расти не по днямъ, а по часамъ: за нимъ ходятъ уже толпами, осыпаютъ деньгами и прочими даяніями, богатѣйшіе купцы наперерывъ зазываютъ его къ себѣ съ земными поклонами. И онъ милостиво заходитъ, садится на самое почетное мѣсто и — опивается чаемъ. Пьетъ и командуетъ:

— Наливай послаже!

Вы не вѣрите? Думаете, что не можетъ-же быть, чтобы двадцать лѣтъ почитали, какъ икону, только за то, что можетъ человекъ ведерный самоваръ охолостить? Ну, молю, пьетъ, да не въ этомъ-же все таки дѣло. Вѣроятно, хоть изрѣдка чѣмъ-нибудь себя инымъ проявляетъ. Ну, наприкладъ, вретъ чтонибудь божественное, хоть изъ приличія дурачить. Да нѣтъ же, ничего подобнаго! Только пьетъ и стяжаетъ славу!

— Но пойдемъ далѣе. Вотъ вамъ нѣкій Оеда, тоже воронежскій. Прозвище нѣсколько не благоуханное: Оеда золотарь. Но слава опять таки громадная. Домикъ въ слободѣ, двое взрослыхъ дѣтей, сынъ и дочь, которые весьма дѣльно торгуютъ лавочкой. А папаша уже лѣтъ пятнадцать ходитъ по улицамъ. Темное безбородое лицо, неморгающіе темные глаза — и всег-

да молчить. То есть, вѣрнѣе сказать, только поеть: вы его останавливаете, спрашиваете, а онъ преть на васъ, глядитъ въ упоръ и дереть на ходу что-нибудь изъ писанія. Голосъ прямо ужасный. Да и самъ ужасенъ: сальные волосы, босой, весь, конечно, въ лохмотьяхъ, на головѣ желѣзный таганъ ножками вверхъ, — царская корона. Главное-же занятіе — въ нечистотахъ рыться: какъ только ударятъ ко всеобщей — онъ за городъ и до вечера роетъ тамъ палкой по оврагамъ, гдѣ золотари по ночамъ городское добро выливаютъ. Нароется до седьмого пота — и домой, ночевать. А еще что? А еще опять ничего! За что, спрашивается, его деньгами, булками и прочими дарами осыпаютъ? За что руки ловятъ и цѣлуютъ, да не только руки, а и палку вонючую? Не знаю-сь, не знаю-сь! Философствуйте сами — есть надъ чѣмъ. . .

— Затѣмъ вспоминаю-сь Кириюшу Борисоглѣбскаго, Кириюшу Тульскаго, Ксенофонта Окаяннаго. Кирюша Борисоглѣбскій мужикъ изъ большого торговаго села подъ Борисоглѣбскомъ. Морда свѣжая, румяная. Окромсалъ въ одинъ прекрасный день голову клоками, разулся, надѣлъ женскую юбку, взялъ въ руку ломъ и отличился въ городъ. Выбралъ большой праздникъ, Троицу — и прямо въ соборъ, къ обѣднѣ. Тамъ, понятно, на переднемъ мѣстѣ вся знать, всѣ чины градскіе въ полной, парадной формѣ. Жара, духота, тѣснота невообразимая, солнце жаритъ прямо изъ купола, а березовая зелень на полу и по стѣнамъ вянетъ, покойникомъ душитъ. И вдругъ страшный коровій ревъ: врывается въ церковь Кирюша и съ коровьимъ ревомъ ломитъ сквозь толпу прямо къ амвону. Натурально, полицейскіе его за шиворотъ и назадъ, но дѣло уже

сдѣлано — весь соборъ, а затѣмъ и весь городъ пораженъ и взволнованъ. А Кирюша, какъ прикинулся на Троицу коровой, такъ и остался на цѣлыхъ три года. Цѣлыхъ три года ходилъ нѣмымъ и ревѣлъ. Реветь, дуетъ трубой іерихонской и разными жестами пророчествуетъ. Посуетъ пальцемъ въ кулакъ — къ свадьбѣ, сложить крестомъ ручки — къ покойнику. А на четвертый годъ подсчиталъ однажды выручку, увидалъ, что капиталець составился уже кругленькій — и во свояси. А тамъ домикъ себѣ построилъ, палисадничекъ съ мальвами завелъ, ну и прочее тому подобное. Обыкновенный мошенникъ? Разумѣется. Ну, а слава-то? Вѣдь была-же она? Была, равно какъ и у прочихъ двухъ, мною вкупѣ съ этимъ Кирюшей упомянутыхъ, то есть у Кирюши Тульского и у Ксенофонта. Кирюша Тульскій былъ невеличекъ ростомъ и весьма благообразенъ, начитанъ въ Писаніи и сладкопѣвенъ. На груди, на сѣренькой поддевичкѣ, сумочка, а что въ ней — «смертному лучше и не заглядывать, любезныя сестры, вдовицы и мужатицы!» А Ксенофонтъ почему-то прозвалъ себя окаяннымъ. Молодой малый, рябой, длинный, наряженъ послушникомъ. И все юродство его заключалось только въ томъ, что шатался онъ по городу и пилъ у мѣщанокъ и купчихъ чай непременно съ лампаднымъ масломъ. Опять скажете, простой жуликъ? Совершенно съ вами и на этотъ разъ согласенъ. У одного на груди таинственная сумочка, у другого лампадное масло, — только и всего. Однако, въ чемъ же секретъ? Ужели только въ сумочкѣ и маслѣ?

— Затѣмъ нарисую вамъ изъ числа подобныхъ-же, на первый взглядъ тоже какъ-будто весьма простыхъ фигуръ, еще парочку: Θεодосія Хамовническаго и

Петрушу Устюжскаго. Θεодосію тоже однажды надо́ло быть обыкновеннымъ дворникомъ и онъ тоже однажды разулся, возложилъ на себя вериги, то есть по просту собачьей цѣпью обмотался, прихватилъ въ подручные нѣкогого бродячаго Петрушу и пошелъ пророчествовать. Вы опять подумаете — значить, все такі хотъ нѣкоторый даръ къ тому имѣлъ? Но опять я васъ разочарую: ничуть не бывало! Пророчествовалъ онъ крайне бездарно и, главное, видъ имѣлъ самый не пророческій: обыкновенный лысый мужикъ лѣтъ сорока съ превеселыми и нахальными глазами. А Петруша былъ и того ординарнѣе. Видъ мелкотравчатый, умишка куриный, натура гаденькая и похотливая. Бабъ, дѣвъ иначе не называлъ, какъ вербочками, пѣночками, канареечками, и прожорливостью отличался прямо противоестественною. И особенно на молочную лапшу и на арбузы. Завидѣвъ арбузъ, весь трясся и кричалъ: «искушеніе, искушеніе, великое искушеніе!» — затѣмъ облапывалъ его, ставилъ на колѣни и выгребалъ пятерней до донушка. Вы еще разъ попытаетесь сказать, что плуты, молъ, не въ счетъ и что посему и эти два угодника должны быть оставлены нами въ покоѣ. Но, во первыхъ, я же и хотѣлъ сказать, сколь много среди нашихъ знаменитостей было и есть плутовъ и выродковъ, а во вторыхъ, долженъ напомнить вамъ, что цѣль моя заключалась вовсе не въ томъ, чтобы ихъ обличать: я велъ совсѣмъ къ другому, къ тому, что мы, русичи, исконные поклонники плутовъ и выродковъ и что эта наша истинно замѣчательная особенность, наша «бабская охота ко пророкамъ лживымъ» есть предметъ достойный величайшаго вниманія. А кромѣ того никакъ не могу согласиться, что,

напримѣръ, Θεодосій и Петруша только плуты. Нѣтъ-съ, это въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ люди удивительные. Вы только представьте себѣ всю ту веселѣйшую небрежность, безстыднѣйшую легкость, съ которой совершалъ свое земное странствіе вотъ этотъ самый Θεодосій среди прочихъ русичей, коихъ онъ всѣхъ поголовно, разъ и навсегда, счелъ совершеннѣйшими идіотами, счелъ, конечно, не умою, а, такъ сказать, всѣмъ естествомъ своимъ. Развѣ это не геніальность своего рода? Но геніаленъ и Петруша. Здѣсь вы тоже должны представить себѣ нѣчто совершенно изъ ряда вонъ выходящее въ смыслѣ цѣльности ходячей ненасытной утробы, ея зоологической устремленности исключительно къ одной цѣли — къ лапшѣ, къ арбузу, къ канареечкамъ, къ лапушкамъ. Полагаю, что подобной первобытности, зоологичности вы нигдѣ, кромѣ русичей, не встрѣтите. И повѣрьте-съ — толпу-то и поражала (конечно, для нея самой невѣдомо) именно страшная сила этой зоологической цѣльности. . .

— Въ томъ-же родѣ былъ и знаменитый Иванъ Степановичъ Лихачевъ. Этотъ былъ много лѣтъ лихачемъ-извозчикомъ — оттого и прозвали Лихачевымъ, — стоялъ въ Соболяхъ, — знаете, конечно, что это такое было, — цѣлый кварталъ бардаковъ, — а затѣмъ съ козель слѣзъ и преобразился въ бродячаго наставника святой жизни. Надѣлъ подрясникъ, бархатную скуфеечку — и пошелъ. Пророчески лысъ не хуже Θεодосія и такъ-же благодушенъ. Говоритъ съ пошлѣйшимъ краснорѣчіемъ, читаетъ самыя избитыя нотации, а самъ, конечно, зорко посматриваетъ, сколько именно пятаковъ сердобольная дура изъ платочка развязываетъ. Сюжетъ, по моему, тоже на рѣдкость интерес-

ный! Тутъ, какъ видите, тоже обрѣлъ человѣкъ, стоя цѣлыми годами возлѣ бардаковъ, нѣкое замѣчательное воззрѣніе на міръ, на жизнь и на людей!

— Затѣмъ — Ванюша Кувырокъ. Почему Кувырокъ? А потому, что кувыркался, ходилъ больше всего колесомъ. Изумительно! Могъ хоть пять, хоть десять верстъ пройти такимъ манеромъ. А къ этому прибавьте его ликъ: морщинистый мальчикъ лѣтъ сорока, съ хитренькими глазками и съ распущенными женскими волосами, впрочемъ, подрѣзанными, въ силу того, что ходить колесомъ съ длинными, конечно, неудобно. Знаменитъ былъ, между прочимъ, тѣмъ, что совершилъ паломничество въ Кіевъ съ самой Матреной Макарьевной, Богородицей всѣхъ московскихъ юродицъ, и притомъ паломничество не простое, а въ нѣкоторомъ родѣ потрясающее: вообразите себѣ, что эта самая Матрена Макарьевна набрала въ Кіевѣ и повела за собой въ Москву цѣлыхъ сто душъ самыхъ что ни на есть отборныхъ по безобразію внѣшнему и внутреннему дуръ и дураковъ! Волосы на головѣ, сударь мой, зашевелиятся, какъ подумаешь, что́ это за орда шла со всяческимъ дреколіемъ въ рукахъ и въ подобающихъ ея сану одѣяніяхъ!

— И на этой картинѣ позвольте пока и закончить. Думаю, что на первый разъ довольно. Прибавлю еще только одного — Данилушку Коломенскаго. Этотъ вышелъ изъ семьи изувѣрски благочестивой, богатой и суровой, былъ единственнымъ сыномъ закоренѣлаго раскольника, начетчика и фанатика, и сталъ юродомъ съ раняго отрочества: запустилъ волосы, — замѣтте эту удивительную черту, страсть къ женскимъ волосамъ! — скинулъ портки, надѣлъ женскую рубаху, —

опять таки женскую! — и сталъ обнаруживать свирѣпую жадность къ деньгамъ, къ игрѣ въ бабки и къ пляскѣ при видѣ покойниковъ. Былъ онъ необыкновенно красивъ мрачной восточной красотой, и близорукъ до того, что его иначе и не звали, какъ слѣпая срака, игралъ-же, однако, такъ, что вскорѣ прославился на весь уѣздъ, равнаго себѣ въ игрѣ не зналъ: могъ стать хоть за полверсты отъ кона и все таки съ одного маху срѣзать своей длинной рукой весь конъ подъ гребенку. Играетъ, обыгрываетъ — и богатѣетъ. Бабки у него лежатъ уже цѣлыми мѣшками и битки имѣются такіе, что за любой изъ нихъ хорошій игрокъ, знатокъ дѣла, готовъ былъ бы у попа въ батракахъ три года служить. Играетъ, копить добро, торгуетъ, мѣняетъ, а барыши гдѣ-то въ землю закапываетъ; закапываетъ и то, что набираетъ на похоронахъ за свою пляску надъ покойниками. Довольно все странно, не правда-ли? Дикая дылда, мрачный красавецъ съ синими волосами по плечамъ, лѣто и зиму (даже въ самые трескучіе морозы) босой и въ одной рубахѣ — и изо дня въ день то играетъ, то бѣгаетъ на похороны. Играетъ — какъ будто вполнѣ нормаленъ, только молчаніемъ да видомъ отличается отъ прочихъ, а какъ только прослышитъ, что въ слободѣ или въ городѣ покойникъ — рысью въ церковь, къ отпѣванію: врывается и до упаду бьется въ буйнѣйшей пляскѣ надъ гробомъ. Да что! Даже въ Москву бѣгалъ, прослышавъ о смерти Семена Митрича, — освѣдомлены, вѣроятно, какова это среди юродовъ персона была? — и все затѣмъ, чтобы «отплясать его въ Царствіе Божіе», а за пляску потуже набить кису подаяніями потрясенной толпы. Киса у него всегда на груди висѣла, и можете себѣ

представить, какъ она гремѣла и звенѣла пятаками при его неистовомъ скаканіи и вихляніи!

А въ заключеніе — знаете, какъ онъ погибъ? Былъ звѣрски растерзанъ своими согражданами за поджогъ церкви. Давно уже шло въ слободѣ что-то странное: зачастили пожары, и совершенно неизвѣстно, почему. Оказалось, что это Данилушка работаль, что онъ новую страсть приобрѣлъ: поджигать. Отсюда и пошло: что ни ночь, то пожарище, и всегда на это пожарище первымъ является, несется въ пляскѣ Данилушка. Умирая, самъ признался:

— Хотѣлъ всю Коломну пустить огнемъ по-вѣтру, отплясать въ Царствіе Небесное. . .

НАДПИСИ

Вечеръ былъ прекрасный, и мы опять сидѣли подъ греческимъ куполомъ бесѣдки надъ обрывомъ, глядя на долину, на Рейнъ, на голубыя дали къ югу и низкое солнце на западѣ. Наша дама поднесла лорнетъ къ глазамъ, посмотрѣла на колонны бесѣдки, — онѣ, конечно, сверху до низу покрыты надписями туристовъ — и сказала своимъ обычнымъ медлительно-презрительнымъ тономъ:

— Чувствительный нѣмецъ свято чтитъ эти узаконенныя путеводителями «мѣста съ прекраснымъ видомъ», *schöne Aussicht*. И считаетъ непремѣннымъ долгомъ расписаться: былъ и любовался Фрицъ-такой-то.

Старичокъ сенаторъ тотчасъ-же возразилъ:

— Но позвольте скромно замѣтить, что тутъ есть фамиліи и французскія, и англійскія, и русскія, и всякія иныя прочія.

— Все равно, — сказала дама. — «Сію станцію проѣзжалъ Ивановъ седьмой». И совершенно справедливая резолюція слѣдующаго проѣзжаго: «Хоть ты и седьмой, а дуракъ!»

Всѣ мы засмѣялись и, вспоминая нѣкоторыя крымскія и кавказскія мѣста, особенно излюбленныя распи-

сывающими Ивановами, всѣ болѣе или менѣе блеснули остроуміемъ надъ путешествующимъ обывателемъ, а старичокъ пожалъ плечомъ и сказалъ:

— А я думаю господа, что ваше остроуміе надъ пошлостью этого обывателя гораздо пошлѣе, не говоря уже о вашемъ безсердечіи и — о лицемѣрїи, ибо кто же изъ васъ тоже не расписывался въ томъ или другомъ мѣстѣ и въ той или иной формѣ? Расписывается (и будетъ расписываться во вѣки вѣковъ) вовсе не одинъ Фрицъ или Ивановъ. Все человѣчество страдаетъ этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. Что такое литература, исторія? Вы думаете, что Гомеромъ, Толстымъ, Несторомъ руководили не тѣ же самыя побужденія, что и седьмымъ Ивановымъ? Тѣ-же самыя, увѣряю васъ.

— Охъ, сколь вы привержены къ парадоксамъ, ваше высокопревосходительство, — сказала дама.

Но старичокъ продолжалъ:

— Говорятъ, что человѣкъ есть говорящее животное. Нѣтъ, вѣрнѣе, человѣкъ есть животное пишущее. И количеству и разнообразію человѣческихъ надписей, — если ужъ говорить только о надписяхъ, — положительно нѣтъ числа. Однѣ вырѣзаны, выбиты, другія начертаны, нарисованы. Однѣ собственной рукой, другія рукой наслѣдниковъ, внуковъ, правнуковъ. Однѣ вчера, другія десять, сто лѣтъ тому назадъ или же вѣка, тысячелѣтія. Онѣ то длинны, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмѣрно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то какъ нельзя болѣе точны, то безъ всякихъ датъ, то съ датами, говорящими не только о мѣсяцѣ и годѣ того или иного событія, но даже о числѣ, о часѣ; онѣ то пошлы, то изумительны

по силѣ, глубинѣ, поэзіи, выраженной иногда въ какой-нибудь одной строкѣ, которая во сто разъ цѣннѣе многихъ и многихъ такъ называемыхъ великихъ произведеній словесности. Въ концѣ же концовъ всѣ эти несмѣтные и столь другъ на друга непохожіе человѣческіе слѣды производятъ разительно одинаковое впечатлѣніе. Такъ что, если ужъ смѣяться, то слѣдуетъ смѣяться надо всѣми. Въ Римѣ въ тавернѣ написано: «Здѣсь ѣли и пили въ прошломъ столѣтіи писатель Гоголь и художникъ Ивановъ», — далеко не седьмой, какъ изволите знать. А не сохранилось-ли надписи на подоконникѣ въ Миргородѣ о томъ, что въ позапрошломъ столѣтіи нѣкто кушалъ однажды съ отмѣннымъ удовольствіемъ дыню? Весьма возможно. И, по моему, между этими двумя надписями нѣтъ ровно никакой разницы. . .

— Мнѣ вотъ сейчасъ пришло въ голову, — продолжалъ онъ: — гдѣ я на своемъ вѣку бывалъ и какія надписи видѣлъ? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалахъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ ресторановъ. Надписи клинописью. Надписи на колоколѣ въ заштатномъ городѣ Чернавѣ, — имя, отечество и фамилія купца такой-то гильдіи, создателя сего колокола. Героглифы на обелискахъ, на развалинахъ Карнакскихъ капищъ. Надписи на триумфальныхъ цезарскихъ аркахъ. Каракули карандашемъ на голубцѣ возлѣ одного святого колодца въ непролазной глуши Керженскихъ лѣсовъ: «Поситили грѣшныи Ефимъ и Прасковья». Надписи сказочно-великолѣпной вязью въ мечети Омара, въ Айя-Софіи, въ Дамаскѣ, въ Каирѣ. Тысячи именъ и инициаловъ на старыхъ деревьяхъ и на скамейкахъ въ усадьбахъ

и городахъ, въ Орлѣ и Кисловодскѣ, въ Царскомъ Селѣ и въ Ореандѣ, въ Нескучномъ и въ Версалѣ, въ Веймарѣ и Римѣ, въ Дрезденѣ и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафій. Гдѣ? Опять таки даже счесть трудно. На деревянныхъ и каменныхъ крестахъ, на всяческихъ мавзолеяхъ, на гранитныхъ и сикоморовыхъ саркофагахъ, на пеленахъ мумій, на мѣдныхъ доскахъ, на желѣзныхъ плитахъ, на урнахъ и стеллахъ, на драгоценныхъ шаляхъ, покрывающихъ гробы халифовъ, на скользкихъ полахъ средневѣковыхъ соборовъ и на столбикахъ изъ песчаника. Я глядѣлъ на эти нагробные паспорта въ степяхъ и пустыняхъ, на Чернавскомъ погостѣ и на Константинопольскихъ Поляхъ Смерти, на Волковомъ кладбищѣ и подъ Дамаскомъ, гдѣ среди песковъ стоятъ несмѣтные рогатые бугорки изъ глины въ видѣ сѣдла, въ московскомъ Донскомъ монастырѣ и въ Юсафатовой Долинѣ подъ Иерусалимомъ, въ Петропавловскомъ Соборѣ и въ катакомбахъ на Аппіевой дорогѣ, на берегахъ Бретани и въ сирійскихъ криптахъ, надъ прахомъ Данте и надъ могилой дурочки Эни въ Задонскѣ. А, есть отчего впасть въ парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о томъ. Васъ, какъ и многихъ другихъ, возмущаютъ надписи вотъ вродѣ этихъ, то есть тѣ, что вкривь и вкось покрываютъ развалины романтическихъ замковъ и башенъ, внутренность вышки надъ куполомъ римскаго Петра, ворота на Байдарскомъ перевалѣ, верхушку пирамиды Хеопса, скалы въ Дарьяльскомъ ущельѣ и въ Альпахъ, гдѣ онѣ бьютъ въ глаза издалика, пишутся запасливыми путешественниками красной и бѣлой краской? Васъ приводитъ въ негодование проявленіе пошлости, обыва-

тельщины, какъ говорятъ въ подобныхъ случаяхъ, — дерзость мѣщанина, прикладывающаго свою руку всюду, гдѣ онъ ни ступить?

— Въ негодованіе я не прихожу, — сказала дама, — но что надписи эти въ достаточной мѣрѣ противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче въ философскомъ настроеніи и хотите высказать очевидно, ту безспорную истину, что все, молъ, суета суетъ и что передъ лицомъ Господа Бога совершенно равны и Данте, и какая-то Оеня. Молъ, рѣка время въ своемъ теченіи уноситъ всѣ дѣла людей, то есть и Хеопса, и Фрица, и Иванова перваго, и Иванова тысячу семьсотъ семьдесятъ седьмого. Вы эту Америку открыли? Да?

Но старичокъ только усмѣхнулся.

— Вы какъ нельзя болѣе проницательны, мой старый другъ, — отвѣтилъ онъ. — За свою долгую жизнь я пришелъ къ чудовищнымъ выводамъ относительно человѣческаго ума и человѣческой освѣдомленности на счетъ даже самыхъ безспорныхъ истинъ и на счетъ возможности еще долго напоминать ихъ безъ всякаго риска. Кромѣ того, мнѣ просто всегда очень нравились старыя истины, съ годами-же я становлюсь прямо обожателемъ ихъ, ибо вѣдь это только истерическимъ поросятамъ изъ нынѣшнихъ модернистовъ простительно думать, что міръ лѣтъ десять тому назадъ сталъ совершенно неузнаваемъ по сравненію со всей предыдущей міровой исторіей. Было время, когда и я весьма немногимъ отличался отъ прочихъ. Прочіе посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилонъ построилъ и Сезостриса, какъ говорится, на голову разбилъ, а дуракъ!» Ну,

а теперь я снисходительнѣе отношусь и къ Навуходоносору и къ Иванову.

— И даже съ нѣжностью, — сказала дама.

— И даже съ нѣжностью, — подтвердилъ старичокъ. — Только, знаете, я даже и въ былыя времена былъ порою ей подверженъ. Вотъ хоть-бы это: «посѣтили грѣшныя». Помню, прочиталъ — и расчувствовался ужасно. Ахъ, до чего хорошо! Казалось бы, зачѣмъ они расписались? И что мнѣ въ этой Прасковьѣ, въ этомъ Ефимѣ? А вотъ хорошо, и прежде всего, какъ разъ потому, что это не Карлъ Великій, а именно какой-то никому невѣдомый Ефимъ, оставившій для меня, ему тоже невѣдомаго, какъ бы частицу своей души въ одинъ изъ ея самыхъ завѣтныхъ моментовъ. А эти изодранныя перстнями, точно паутиной покрытыя зеркала въ кабацкихъ кабинетахъ? Неужели они никогда не трогали васъ? Вѣдь вы только подумайте: тамъ, гдѣ то въ залѣ, играла музыка, а нѣкто пьяный слушалъ, плакалъ, думалъ, что нѣтъ въ мірѣ несчастнѣе его судьбы, нѣтъ выше его чувствъ, и повторялъ, что его «лебединая пѣсня пропѣта», разрывалъ себѣ душу сладкими воспоминаніями о томъ будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но развѣ важно, отчего именно счастливъ или несчастливъ человѣкъ? Всѣ слезы одинаквы, всѣ онѣ капли одной и той же влаги! Да и не такъ ужъ отличенъ человѣкъ отъ человѣка, моя дорогая. Разъ ты Ивановъ и я Ивановъ — въ чемъ разница? Въ томъ, что ты седьмой, а я семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильномъ крестѣ, конечно, звучитъ иначе, чѣмъ тогда, когда оно написано на садовой скамейкѣ или въ ресторанѣ. А вѣдь, въ сущности, всѣ чело-

вѣческія надписи суть эпитафіи, поелику касаются момента ужь прошедшаго, частицы жизни уже умершей.

— Меня комми-вояжеры, счастливы они или нѣтъ, все таки не умиляютъ, Алексѣй Алексѣичъ, — сказала дама.

— А въ иной часъ, — возразилъ старичокъ упрямо, — мнѣ чортъ съ нимъ, что онъ комми-вояжеръ, разъ этотъ «иной часъ» есть часъ его великой скорби или радости. Нѣтъ, надписи на зеркалахъ меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейкахъ и деревьяхъ, вырѣзанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и «хороша и блѣдна какъ лилея въ той аллеѣ стояла она. . .» Тутъ опять то же самое: не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы, — Гете или Фрица, Огарева или Епиходова, Лизы изъ «Дворянскаго гнѣзда» или ея горничной? Тутъ главное все таки въ томъ, что была «до ланить восходящая кровь» и завѣтная скамья, что «шиповникъ алый цвѣлъ» (и, конечно, отцвѣлъ въ свой срокъ), что блаженные часы проходятъ и что надо, необходимо (почему, одинъ Богъ знаетъ, но необходимо) хоть какъ-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцвѣтанію шиповника. Тутъ вѣчная, неустанная наша борьба съ «рѣкой забвенія». И что-жъ, развѣ эта борьба ничего не даетъ, развѣ она уже совсѣмъ бесплодна? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Ибо вѣдь въ противномъ случаѣ все пошло бы къ чорту — всѣ искусства, вся поэзія, всѣ лѣтописи человечества. Зачѣмъ бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлымъ, бывшимъ? А оно существуетъ! У людей

три тысячи лѣтъ навертываются слезы на глаза, когда они читають про слезы Андромахи, провожающей съ ребенкомъ на рукахъ Гектора. Я сорокъ лѣтъ умиляюсь, вспоминая умиленіе, съ которымъ выводили свои каракули Ефимъ и Прасковья. И посему да здравствуютъ во вѣки вѣковъ и Андромаха, и Прасковья, и Вертеръ, и Фрицъ, и Гоголь, и Иванъ Никифоровичъ, полтора ста лѣтъ тому назадъ скушавшій въ Миргородѣ дыню и записавшій сіе событіе!

И, поднявшись со скамьи, старичокъ снялъ шляпу и, странно улыбаясь, потрясъ ею въ воздухѣ.

28. VI. 24

РУСАКЪ

Непроглядная метель, стекла оконъ залѣплены свѣжимъ, бѣлымъ снѣгомъ, въ домѣ бѣлый, снѣжный свѣтъ; и все время однообразно шумитъ за стѣнами, однообразно, черезъ извѣстные промежутки, скрипитъ и стонетъ сукъ стараго дерева въ палисадникѣ, задѣвающій крышу. Какъ всегда въ метель, съ особой отрадой чувствую старину, уютъ дома.

Вотъ въ прихожей хлопнула дверь, слышно, какъ Петя, вернувшійся съ охоты, топаетъ валенками, отряхивается отъ снѣга, затѣмъ мягкими шагами проходитъ черезъ залу къ себѣ. Я встаю и иду въ прихожую. Съ полемъ или нѣтъ?

Съ полемъ.

На лавкѣ въ прихожей, растянувшись, выкинувъ переднія лапки впередъ, а заднія назадъ, лежитъ уже выбѣлившійся русакъ. Гляжу на него, трогаю его и съ изумленіемъ, и съ восторгомъ.

Онъ лобастый, съ большими и выпученными, глядящими назадъ стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть еще не померкшими, — все такими-же бессмысленно блестящими, какъ и при жизни.

Но вся его тяжелая тушка уже каменно тверда и холодна.

Каменны туго вытянутыя лапки въ жесткой шерсткѣ. Туго завернуть сѣро-коричневый мохоръ хвостика. И на торчащихъ кошачьихъ усахъ, на раздвоенной верхней губѣ — запекшаяся кровь.

Чудо, дивное чудо!

Чась тому назадъ, всего чась тому назадъ, шевеля этими ушами, прижавъ вотъ эти длинныя уши и чутокъ, зорко кося за спину стекломъ глазъ, золотистыхъ внутри, онъ лежалъ въ мерзлой ямкѣ подъ сугробомъ въ полѣ, наполняя эту ямку своимъ жаркимъ тепломъ, блаженствуя въ буйномъ дыму вьюги, которая со всѣхъ сторонъ дула, заносила его снѣгомъ. Внезапно открытый и поднятый собакой, онъ далъ отъ нея такого стрекача, головокружительную красоту котораго не выразить никакимъ человѣческимъ словомъ. И какъ жарко и дико колотилось его обезумѣвшее, оглушенное выстрѣломъ сердце, когда порывисто оборвался его бѣгъ, а Петя крѣпко поймалъ его за уши, и какимъ пронзительнымъ, младенческимъ воплемъ отвѣтилъ онъ на то послѣднее, что вдругъ ощутилъ онъ, — острый огонь кинжала, глубоко пронзившій ему горло.

— Нѣтъ словъ выразить то непонятное наслажденіе, съ которымъ я чувствую и эту гладкую шкурку, и закаменѣвшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залѣпленное свѣжимъ, бѣлымъ снѣгомъ, и весь этотъ вьюжный, блѣдный свѣтъ, разлитый въ домѣ.

КНИГА

Лежа на гумнѣ въ ометѣ, долго читаль — и вдругъ возмутило. Опять съ раняго утра читаю, опять съ книгой въ рукахъ! И такъ изо дня въ день, съ самага дѣтства! Полжизни прожилъ въ какомъ-то несуществующемъ мірѣ, среди людей, никогда не бывшихъ, выдуманныхъ, волнуясь ихъ судьбами, ихъ радостями и печалями, какъ своими собственными, до могилы связавъ себя съ Авраамомъ и Исаакомъ, съ пелазгами и этрусками, съ Сократомъ и Юліемъ Цезаремъ, Гамлетомъ и Данте, Гретхенъ и Чацкимъ, Собакевичемъ и Офеліей, Печоринымъ и Наташей Ростовою! И какъ теперь разобратъся среди дѣйствительныхъ и вымышленныхъ спутниковъ моего земного существованія? Какъ раздѣлить ихъ, какъ опредѣлить степени ихъ вліянія на меня?

Я читаль, жилъ чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вотъ я внезапно почувствовалъ это и очнулся отъ книжнаго навожденія, отбросилъ книгу въ солому и съ удивленіемъ и съ радостью, какими то новыми глазами, смотрю кругомъ, остро вижу, слышу, обоняю, —

главное, чувствую что-то необыкновенно простое и въ то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть въ жизни и во мнѣ самомъ и о чемъ никогда не пишу въ книгахъ.

Пока я читалъ, въ природѣ сокровенно шли измѣненія. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. Въ небѣ мало-по-малу собрались облака и тучки, кое-гдѣ, — особенно къ югу, — еще свѣтлыя, красивыя, а къ западу, за деревней, за ея лозинами, дождевыя, синеватыя, скучныя. Тепло, мягко, пахнетъ далекимъ полевымъ дождемъ. Въ саду поетъ одна иволга.

По сухой фіолетовой дорогѣ, пролегающей между гумномъ и садомъ, возвращается съ погоста мужикъ. На плечѣ бѣлая желѣзная лопата съ прилипшимъ къ ней синимъ черноземомъ. Лицо помолодѣвшее, ясное. Шапка сдвинула съ потнаго лба.

— На своей дѣвчкѣ кустъ жасмину посадилъ! — бодро говоритъ онъ. — Добраго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Онъ счастливъ. Чѣмъ? Только тѣмъ, что живетъ на свѣтѣ, то есть совершаетъ нѣчто самое непостижимое въ мірѣ.

Въ саду поетъ иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже пѣтуховъ не слышно. Одна она поетъ — не спѣша выводитъ игривыя трели. Зачѣмъ, для кого? Для себя-ли, для той-ли жизни, которой сто лѣтъ живетъ садъ, усадьба? А можетъ быть, это усадьба живетъ для ея флейтового пѣнія?

«На своей дѣвчкѣ кустъ жасмину посадилъ». А развѣ дѣвочка объ этомъ знаетъ? Мужикѣ кажется, что знаетъ, и, можетъ быть, онъ правъ. Мужикъ къ

вечеру забудеть объ этомъ кустѣ, — для кого-же онъ будетъ цвѣсти? А вѣдь будетъ цвѣсти, и будетъ казаться, что не даромъ, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачѣмъ выдумывать? Зачѣмъ героини и герои? Зачѣмъ романъ, повѣсть, съ завязкой и развязкой? Вѣчная боязнь показаться недостаточно книжнымъ, недостаточно похожимъ на тѣхъ, что прославлены! И вѣчная мука — вѣчно молчать, не говорить какъ разъ о томъ, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболѣе законно выраженія, то есть слѣда, воплощенія и сохраненія хотя бы въ словѣ!

СОЛНЕЧНЫЙ УДАРЪ

СОЛНЕЧНЫЙ УДАРЪ

Послѣ обѣда вышли изъ ярко и горячо освѣщенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку къ щекъ, засмѣялась простымъ, прелестнымъ смѣхомъ, — все было прелестно въ этой маленькой женщинѣ, — и сказала:

— Я совсѣмъ пьяна... Вообще я совсѣмъ съ ума сошла. Откуда вы взялись? Три часа тому назадъ я даже не подозрѣвала о вашемъ существованіи. Я даже не знаю, гдѣ вы сѣли. Въ Самарѣ? Но все равно, вы милый. Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваемъ?

Впереди была темнота и огни. Изъ темноты билъ въ лицо сильный, мягкій вѣтеръ, а огни неслись куда-то въ сторону: пароходъ съ волжскимъ щегольствомъ круто описывалъ широкую дугу, подбѣгая къ небольшой пристани.

Поручикъ взялъ ея руку, поднесъ къ губамъ. Рука, маленькая и сильная, пахла загаромъ. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, какъ, вѣроятно, крѣпка и смугла она вся подъ этимъ легкимъ холстинковымъ платьемъ послѣ цѣлаго мѣсяца лежанья подъ

южнымъ солнцемъ, на горячемъ морскомъ пескѣ (она сказала, что ѣдетъ изъ Анапы). Поручикъ пробормоталъ:

— Сойдемъ. . .

— Куда? — спросила она удивленно.

— На этой пристани.

— Зачѣмъ?

Онъ промолчалъ. Она опять приложила тылъ руки къ горячей щекѣ.

— Сумасшедшій. . .

— Сойдемъ, — повторилъ онъ тупо. — Умоляю васъ. . .

— Ахъ, да дѣлайте, какъ хотите, — сказала она, отворачиваясь.

Разбѣжавшійся пароходъ съ мягкимъ стукомъ ударился въ тускло освѣщенную пристань, и они чуть не упали другъ на друга. Надъ головами пролетѣлъ конецъ каната, потомъ понесло назадъ, и съ шумомъ закипѣла вода, загремѣли сходни. . . Поручикъ кинулся за вещами.

Черезъ минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокой, по ступицу, песокъ и молча сѣли въ запыленную извозничью пролетку. Отлогій подъемъ въ гору, среди рѣдкихъ кривыхъ фонарей, по мягкой от пыли дорогѣ, показался безконечнымъ. Но вотъ поднялись, выѣхали и затрещали по мостовй, вотъ какая-то площадь, присутственныя мѣста, каланча, тепло и запахи ночного лѣтняго уѣзднаго города. . . Извозчикъ остановился возлѣ освѣщеннаго подъѣзда, за раскрытыми дверями котораго круто поднималась старая деревянная лѣстница, старый, небритый лакей въ розовой косовороткѣ и въ сюртукѣ недовольно взялъ

вещи и пошелъ на своихъ растоптанныхъ ногахъ впередъ. Вошли въ большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцемъ номеръ съ бѣлыми опущенными занавѣсками на окнахъ и двумя необожженными свѣчами на подзеркальникѣ, — и какъ только вошли и лакей затворилъ дверь, поручикъ такъ порывисто кинулся къ ней и оба такъ изступленно задохнулись въ поцѣлуѣ, что много лѣтъ вспоминали потомъ эту минуту: никогда ничего подобнаго не испыталь за всю жизнь ни тотъ, ни другой.

Въ десять часовъ утра, солнечнаго, жаркаго, счастливаго, со звономъ церквей, съ базаромъ на площади передъ гостиницей, съ запахомъ сѣна, дегтя и опять всего того сложнаго и пахучаго, чѣмъ пахнетъ русскій уѣздный городъ, она, эта маленькая безымянная женщина, такъ и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уѣхала. Спали мало, но утромъ, выйдя изъ-за ширмы возлѣ кровати, въ пять минутъ умывшись и одѣвшись, она была свѣжа, какъ въ семнадцать лѣтъ. Смущена-ли была она? Нѣтъ, очень немного. Попрежнему была проста, весела и — уже разсудительна.

— Нѣтъ, нѣтъ, милый, — сказала она въ отвѣтъ на его просьбу ѣхать дальше вмѣстѣ: — нѣтъ, вы должны остаться до слѣдующаго парохода. Если поѣдемъ вмѣстѣ, все будетъ испорчено. Мнѣ это будетъ очень неприятно. Даю вамъ честное слово, что я совсѣмъ не то, что вы могли обо мнѣ подумать. Никогда ничего даже похожаго на то, что случилось, со мной не было, да и не будетъ больше. На меня точно затменіе нашло. . . Или, вѣрнѣе, мы оба получили что-то вродѣ солнечнаго удара. . .

И поручикъ какъ-то легко согласился съ нею. Въ легкомъ и счастливомъ духѣ онъ довезъ ее до пристани, — какъ разъ къ отходу розоваго Самолета, — при всѣхъ поцѣловаль на палубѣ и едва успѣлъ вскочить на сходни, которыя уже двинули назадъ.

Такъ же легко, беззаботно и возвратился онъ въ гостиницу. Однако, что-то ужъ измѣнилось. Номеръ безъ нея показался какимъ-то совсѣмъ другимъ, чѣмъ былъ при ней. Онъ былъ еще полонъ ею — и пусть. Это было странно! Еще пахло ея хорошимъ англійскимъ одеколономъ, еще стояла на подносѣ ея недопитая чашка, а ея уже не было. . . И сердце поручика вдругъ сжалось такой нѣжностью, что поручикъ поспѣшилъ закурить и, хлопая себя по голенищамъ стѣкомъ, нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Странное приключеніе! — сказалъ онъ вслухъ, смѣясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. — «Даю вамъ честное слово, что я совсѣмъ не то, что вы могли подумать. . .» И уже уѣхала. . . Нелѣпая женщина!

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И онъ почувствовалъ, что просто нѣтъ силъ смотрѣть теперь на эту постель. Онъ закрылъ ее ширмой, затворилъ окна, чтобы не слышать базарнаго говора и скрипа колесъ, опустилъ бѣлыя пузырившіяся занавѣски, сѣлъ на диванъ. . . Да, вотъ и конецъ этому «дорожному приключенію!» Уѣхала — и теперь уже далеко, сидитъ, вѣроятно, въ стеклянномъ бѣломъ салонѣ или на палубѣ и смотритъ на огромную, блестящую подъ солнцемъ рѣку, на встрѣчные плоты, на желтыя отмели, на сіяющую даль воды и неба, на весь этотъ безмѣрный волжскій просторъ. . . И прости, и уже навсег-

да, навѣки. . . Потому что гдѣ-же они теперь могутъ встрѣтиться? — «Не могу-же я, подумалъ онъ, не могу же я ни съ того, ни съ сего прѣхать въ этотъ городъ, гдѣ ея мужъ, гдѣ ея трехлѣтняя дѣвочка, вообще вся ея семья и вся ея обычная жизнь!» — И городъ этотъ показался ему какимъ-то особеннымъ, заповѣднымъ городомъ, и мысль о томъ, что она такъ и будетъ жить въ немъ своей одинокой жизнью, часто, можетъ быть, вспоминая его, вспоминая ихъ случайную, такую мимолетную встрѣчу, а онъ уже никогда не увидитъ ея, мысль эта изумила и поразила его. Нѣтъ, этого не можетъ быть! Это было бы слишкомъ дико, неестественно, неправдоподобно! — И онъ почувствовалъ такую боль и такую ненужность всей своей дальнѣйшей жизни безъ нея, что его охватилъ ужасъ, отчаяніе.

— Что за чертъ! — подумалъ онъ, вставая, опять принимаясь ходить по комнатѣ и стараясь не смотрѣть на постель за ширмой. — Да что же это такое со мной? Кажется не въ первый разъ — и вотъ. . . Да что въ ней особеннаго и что собственно случилось? Въ самомъ дѣлѣ, точно какой-то солнечный ударъ! И главное, какъ же я проведу теперь, безъ нея, цѣлый день въ этомъ захолустьи?

Онъ еще помнилъ ее всю, со всѣми малѣйшими ея особенностями, помнилъ запахъ ея загара и холстинковаго платья, ея крѣпкое тѣло, живой, простой и веселый звукъ ея голоса. . . Чувство только что испытанныхъ наслажденій всей ея женской прелестью было еще живо въ немъ необыкновенно, но теперь главнымъ было все-таки это второе, совсѣмъ новое чувство — то странное, непонятное чувство, котораго совсѣмъ не было, пока они были вмѣстѣ, котораго онъ даже предпо-

ложить въ себѣ не могъ, затѣвая вчера это, какъ онъ думалъ, только забавное знакомство, и о которомъ уже не кому, не кому было сказать теперь! — «А главное, подумалъ онъ, вѣдь и никогда уже не скажешь! И что дѣлать, какъ прожить этотъ безконечный день, съ этими воспоминаніями, съ этой неразрѣшимой мукой, въ этомъ Богомъ забытомъ городишкѣ надъ той самой сіяющей Волгой, по которой унесъ ее этотъ розовый пароходъ!»

Нужно было спастись, чѣмъ нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь итти. Онъ рѣшительно надѣлъ картузь, взялъ стѣкъ, быстро прошелъ, звеня шпорами, по пустому корридору, сбѣжалъ по крутой лѣстницѣ на подъѣздъ. . . Да, но куда итти? У подъѣзда стоялъ извозчикъ, молодой, въ ловкой поддевкѣ, и спокойно курилъ цигарку, очевидно, дожидаясь кого-то. Поручикъ взглянулъ на него растерянно и съ изумленіемъ: какъ это можно такъ спокойно сидѣть на козлахъ, курить и вообще быть простымъ, безпечнымъ, равнодушнымъ? — «Вѣроятно, только я одинъ такъ страшно несчастенъ во всемъ этомъ городѣ», подумалъ онъ, направляясь къ базару.

Базаръ уже развѣзжался. Онъ зачѣмъ-то походилъ по свѣжему навозу среди телѣгъ, среди возовъ съ огурцами, среди новыхъ мисокъ и горшковъ, и бабы, сидѣвшія на землѣ, наперебой зазывали его, брали горшки въ руки и стучали, звенѣли въ нихъ пальцами, показывая ихъ добротность, мужики оглушали его, кричали ему: — «Вотъ первый сортъ огурчики, ваше благородіе!» — Все это было такъ глупо, нелѣпо, что онъ бѣжалъ съ базара. Онъ пошелъ въ соборъ, гдѣ пѣли уже громко, весело и рѣшительно, съ сознаниемъ

исполненнаго долга, потомъ долго шагаль, кружилъ по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрывѣ горы, надъ неоглядной свѣтлостальной ширью рѣки. . . Погоны и пуговицы его кителя такъ нажгло, что къ нимъ нельзя было прикоснуться. Околышь картуза былъ внутри мокрый отъ пота, лицо пылало. . . Возвратясь въ гостиницу, онъ съ наслаждениемъ вошелъ въ большую и пустую прохладную столовую въ нижнемъ этажѣ, съ наслаждениемъ снялъ картузь и сѣлъ за столикъ возлѣ открытаго окна, въ которое несло жаромъ, но все-таки вѣяло воздухомъ, и заказалъ ботвинью со льдомъ. Все было хорошо, во всемъ было безмѣрное счастье, великая радость; даже въ этомъ зноѣ и во всѣхъ базарныхъ запахахъ, во всемъ этомъ незнакомомъ городишкѣ и въ этой старой уѣздной гостиницѣ была она, эта радость, а вмѣстѣ съ тѣмъ сердце просто разрывалось на части. Онъ выпилъ нѣсколько рюмокъ водки, закусывая малосольными огурцами съ укропомъ и чувствуя, что онъ, не задумываясь, умеръ бы завтра, если бы можно было какимъ-нибудь чудомъ вернуть ее, провести съ ней еще одинъ, нынѣшній день, — провести только затѣмъ, только затѣмъ, чтобы высказать ей и чѣмъ-нибудь доказать, убѣдить, какъ онъ мучительно и восторженно любить ее. . . За чѣмъ доказать? За чѣмъ убѣдить? Онъ не зналъ, за чѣмъ, но это было необходимѣе жизни.

— Совсѣмъ разгулялись нервы! — сказалъ онъ, наливая пятую рюмку водки.

Онъ отодвинулъ отъ себя ботвинью, спросилъ чернаго кофе и сталъ курить и напряженно думать: что же теперь дѣлать ему, какъ избавиться отъ этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться — онъ это

чувствовалъ слишкомъ живо — было невозможно. И онъ вдругъ опять быстро всталъ, взявъ картузь и стѣкъ и, спросивъ, гдѣ почта, торопливо пошелъ туда съ уже готовой въ головѣ фразой телеграммы: «Отнынѣ вся моя жизнь навѣки, до гроба, ваша, въ вашей власти». Но, дойдя до стараго толстостѣннаго дома, гдѣ была почта и телеграфъ, въ ужасѣ остановился: онъ зналъ городъ, гдѣ она живетъ, зналъ что у нея есть мужъ и трехлѣтняя дочка, но не зналъ ни фамиліи, ни имени ея! Онъ нѣсколько разъ спрашивалъ ее объ этомъ вчера за обѣдомъ и въ гостиницѣ, и каждый разъ она смѣялась и говорила:

— А зачѣмъ вамъ нужно знать, кто я? Я Марья Маревна, заморская царевна. . . Развѣ не достаточно съ васъ этого?

На углу, возлѣ почты, была фотографическая витрина. Онъ долго смотрѣлъ на большой портретъ какого-то военнаго въ густыхъ эполетахъ, съ выпуклыми глазами, съ низкимъ лбомъ, съ поразительно великолѣпными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. . . Какъ дико, какъ нелѣпо, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, — да, поражено, онъ теперь понималъ это, — этимъ страшнымъ «солнечнымъ ударомъ», слишкомъ большой любовью, слишкомъ большимъ счастьемъ! Онъ взглянулъ на чету новобрачныхъ — молодой человекъ въ длинномъ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, стриженный ежикомъ, вытянувшійся во фронтъ подъ руку съ дѣвицей въ подвѣчномъ газѣ, — перевелъ глаза на портретъ какой-то хорошенькой и задорной барышни въ студенческомъ картузѣ на бекрень. . . Потомъ, томясь мучительной завистью ко всѣмъ этимъ неизвѣстнымъ

ему, не страдающимъ людямъ, сталъ напряженно смотреть вдоль улицы.

— Куда идти? Что дѣлать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, бѣлые, двухэтажные, купеческіе, съ большими садами, и, казалось, что въ нихъ нѣтъ ни души; бѣлая густая пыль лежала на мостовой; и все это слѣпило, все было залито жаркимъ, пламеннымъ и радостнымъ, но здѣсь какъ будто безцѣльнымъ, солнцемъ. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась въ безоблачный, сѣроватый, съ отблескомъ небосклонъ. Въ этомъ было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь. . . Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручикъ, съ опущенной головой, щурясь отъ свѣта, сосредоточенно глядя себѣ подъ ноги, шатаясь, спотыкаясь, цѣпляясь шпорой за шпору, зашагалъ назадъ.

Онъ вернулся въ гостиницу, настолько разбитый усталостью, точно совершилъ огромный переходъ гдѣ-нибудь въ Туркестанѣ, въ Сахарѣ. Онъ, собирая послѣднія силы, вошелъ въ свой большой и пустой номеръ. Номеръ былъ уже прибранъ, лишенъ послѣднихъ слѣдовъ ея, — только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночномъ столикѣ! Онъ снялъ китель и взглянулъ на себя въ зеркало: лицо его, — обычное офицерское лицо, сѣрое отъ загара, съ бѣлесыми, выгорѣвшими отъ солнца усами и голубоватой бѣлизной глазъ, отъ загара казавшихся еще бѣлѣе, — имѣло теперь возбужденное, сумасшедшее выраженіе, а въ бѣлой тонкой рубашкѣ со стоячимъ крахмальнымъ воротничкомъ было что-то юное и глубоко несчастное. Онъ легъ на кровать на спину, положилъ запыленные

сапоги на отвалъ. Окна были открыты, занавѣски опущены, и легкій вѣтерокъ отъ времени до времени надувалъ ихъ, вѣялъ въ комнату зноемъ нагрѣтыхъ желѣзныхъ крышъ и всего этого свѣтоноснаго и совершенно теперъ опустѣвшаго, безмолвнаго волжскаго міра. Онъ лежалъ, подложивъ руки подъ затылокъ, и пристально глядѣлъ въ пространство передъ собой. Потомъ стиснулъ зубы, закрылъ вѣки, чувствуя, какъ по щекамъ катятся изъ подъ нихъ слезы, — и, наконецъ, заснулъ, а когда снова открылъ глаза, за занавѣсками уже красновато желтѣло вечернее солнце. Вѣтеръ стихъ, въ номерѣ было душно и сухо, какъ въ духовой печи. . . И вчерашній день и нынѣшнее утро вспомнились такъ, точно они были десять лѣтъ тому назадъ.

Онъ не спѣша всталъ, не спѣша умылся, поднялъ занавѣски, позвонилъ и спросилъ самоваръ и счетъ, долго пилъ чай съ лимономъ. Потомъ приказалъ привести извозчика, вынести вещи и, садясь въ пролетку, на ея рыжее, выгорѣвшее сидѣнье, далъ лакею цѣлыхъ пять рублей.

— А похоже, ваше благородіе, что это я и привезъ васъ ночью! — весело сказалъ извозчикъ, берясь за возжи.

Когда спустились къ пристани, уже синѣла надъ Волгой синяя лѣтняя ночь, и уже много разноцвѣтныхъ огоньковъ было разсѣяно по рѣкѣ, и огни висѣли на мачтахъ подбѣгающаго парохода.

— Въ аккуратъ доставилъ! — сказалъ извозчикъ заискивающе.

Поручикъ и ему далъ пять рублей, взялъ билетъ, прошелъ на пристань. . . Такъ же, какъ вчера, былъ мягкій стукъ въ ея причалъ и легкое головокруженіе

отъ зыбкости подъ ногами, потомъ летящій конецъ, шумъ закипѣвшей и побѣжавшей впередъ воды подъ колесами нѣсколько назадъ подавашагося парохода. . . И необыкновенно привѣтливо, хорошо показалось отъ многолюдства этого парохода, уже вездѣ освѣщеннаго и пахнущаго кухней.

Черезъ минуту побѣжали дальше, вверхъ, туда-же, куда унесло и ее давеча утромъ.

Темная лѣтняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцвѣтно отражаясь въ рѣкѣ, еще кое-гдѣ свѣтившейся дрожащей рябью вдали подъ ней, подъ этой зарей, и плыли и плыли назадъ огни, разсѣянные въ темнотѣ вокругъ.

Поручикъ сидѣлъ подъ навѣсомъ на палубѣ, чувствуя себя постарѣвшимъ на десять лѣтъ.

Приморскія Альпы. 1925.

И Д А

Однажды на Святкахъ завтракали мы вчетверомъ, — три старыхъ пріятеля и нѣкто Георгій Ивановичъ, — въ Большомъ Московскомъ.

По случаю праздника въ Большомъ Московскомъ было пусто и прохладно, свѣжо пахло живыми цвѣтами, гіацинтами и ландышами. Мы 'прошли старый залъ, блѣдно освѣщенный свѣрымъ морознымъ днемъ, и пріостановились въ дверяхъ новаго, выбирая, гдѣ поуютнѣй свѣсть, оглядывая столы, только-что покрытые бѣлоснѣжными тугими скатертями. Сіяющій чистотой и любезностью распорядитель сдѣлалъ скромный и изысканный жестъ въ дальній уголъ, къ круглому столу передъ полукруглымъ диваномъ, подъ густымъ темнозеленымъ лавромъ. Пошли туда.

— Господа, — сказалъ композиторъ, заходя на диванъ и валясь на него своимъ коренастымъ туловищемъ, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте-же намъ, служающій, самобранную скатерть какъ можно щедрѣе, — сказалъ онъ, обращая къ половому свое широкое мужицкое лицо съ узкими глазками. — Вы мои королевскія замашки знаете.

— Какъ не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя передъ нимъ пепельницу, отвѣтилъ старый умный половой съ чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павелъ Николаевичъ, постараемся. . .

И черезъ минуту появились передъ нами рюмки и фужеры, бутылки съ разноцвѣтными водками, розовая семга, смугло-тѣлесный балыкъ, блюдо съ раскрытыми на ледяныхъ осколкахъ раковинами, оранжевый квадратъ честера, черная блестящая глыба паюсной икры, бѣлый и потный отъ холода ушатъ съ шампанскимъ. . . Начали все-таки съ перцовки. Композиторъ любилъ наливать самъ. И онъ налилъ три рюмки, потомъ шуточно замедлился:

— Святѣйшій Георгій Ивановичъ, и вамъ позволите?

Георгій Ивановичъ, имѣвшій единственное и странное занятіе, — быть другомъ извѣстныхъ писателей, художниковъ, артистовъ, — человекъ весьма тихій и неизмѣнно прекрасно настроенный, нѣжно покраснѣлъ, — онъ всегда краснѣлъ передъ тѣмъ, какъ сказать что нибудь, — и отвѣтилъ съ нѣкоторой безшабашностью и развязностью:

— Даже и очень, грѣшнѣйшій Павелъ Николаевичъ!

И композиторъ налилъ и ему, легонько стукнулъ рюмкой о наши рюмки, махнулъ водку въ ротъ со словами: «Дай Боже!» и, дую себѣ въ усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этимъ дѣломъ довольно долго. Потомъ заказали уху и закурили. Въ старой залѣ нѣжно и грустно запѣла, укоризненно зарычала машина. И композиторъ, откинув-

шись къ спинкѣ дивана, затягиваясь папиросою и, по своему обыкновению, набирая въ свою высоко поднятую грудь воздуху, сказалъ:

— Дорогіе и, къ сожалѣнію, уже весьма потченныя друзья, мнѣ, не взирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мнѣ потому, что вспомнилась мнѣ нынче, какъ только я проснулся, одна небольшая исторія, случившаяся съ однимъ моимъ пріятелемъ, форменнымъ, какъ оказалось впоследствии, осломъ, ровно три года тому назадъ, на второй день Рождества. . .

— Исторія небольшая, но, внѣ всякаго сомнѣнія, амурная, — сказалъ Георгій Ивановичъ со своей дѣвичьей улыбкой.

Композиторъ покосился на него.

— Амурная? — сказалъ онъ холодно и насмѣшливо. — Ахъ, Георгій Ивановичъ, Георгій Ивановичъ, какъ вы будете за всю вашу порочность и безпощадный умъ на Страшномъ Судѣ отвѣчать? Ну, да Богъ съ вами. «Je veux un trésor qui les contient tous, je veux la jeunesse!» — поднимая брови, запѣлъ онъ подъ машину, игравшую Фауста, и продолжалъ, обращаясь къ намъ:

— Друзья мои, вотъ эта исторія. Въ нѣкоторое время, въ нѣкоторомъ царствѣ, ходила въ домъ нѣкоего господина нѣкоторая дѣвица, подруга его жены по курсамъ, настолько незатѣйливая, милая, что господинъ звалъ ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, онъ даже отчества ея не зналъ хорошенько. Зналъ только, что она изъ порядочной, но мало состоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-

то извѣстнымъ дирижеромъ, живетъ при родителяхъ, ждетъ, какъ полагается, жениха — и больше ничего...

— Какъ вамъ описать эту Иду? Расположеніе господинъ чувствовалъ къ ней большое, но вниманія, повторяю, обращалъ на нее, собственно говоря, ноль. Придетъ она — онъ къ ней: «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, душевно радъ васъ видѣть!» А она въ отвѣтъ только улыбается, снимаетъ шляпку, трогаетъ обѣими руками волосы, прячетъ носовой платочекъ въ муфту, ясно, по дѣвичьи (и немножко бессмысленно) оглядывается: «Маша дома?» — «Дома, дома, милости просимъ...» — «Можно къ ней?» — И спокойно идетъ черезъ столовую къ дверямъ Маши: «Маша, къ тебѣ можно?» — Голосъ грудной, до самыхъ жабръ волнующій, а къ этому голосу прибавьте все прочее: свѣжесть молодости, здоровья, благоуханіе дѣвушки, только что вошедшей въ комнату съ мороза... затѣмъ довольно высокій ростъ, стройность, рѣдкую гармоничность и естественность движеній... Было и лицо у нея рѣдкое, — на первый взглядъ какъ будто совсѣмъ обыкновенное, а приглядишь — залюбуешься: тонъ кожи ровный, теплый, — тонъ какого-нибудь самого перваго сорта яблока, — цвѣтъ фіалковыхъ глазъ живой, полный...

— Да, приглядишь, — залюбуешься. А этотъ болванъ, то есть герой нашего разсказа, поглядитъ, придетъ въ телячій восторгъ, скажетъ: «Ахъ, Ида, Ида, цѣны вы себѣ не знаете!» — увидитъ ея отвѣтную, милую, но какъ будто не совсѣмъ внимательную улыбку — и уйдетъ къ себѣ, въ свой кабинетъ, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчествомъ, чортъ бы его побралъ совсѣмъ. И такъ вотъ

и шло время, и такъ нашъ господинъ даже никогда и не задумался объ этой самой Идѣ мало мальски серьезно — и совершенно, можете себѣ представить, не замѣтилъ, какъ она, въ одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нѣтъ и нѣтъ Иды, а онъ даже не догадывается у жены спросить: а куда-же, молю, наша Ида дѣвалась? Вспомнить иной разъ, почувствуетъ, что ему чего-то не достаетъ, вообразить сладкую муку, съ которой нѣ могъ-бы обнять ея станъ, мысленно увидеть ея сѣрую муфточку, цвѣтъ ея лица и фіалковыхъ глазъ, ея прелестную руку, ея англійскую юбку, затоскуетъ на минуту — и опять забудетъ. И прошелъ такимъ образомъ годъ, прошелъ другой. . . Какъ вдругъ понадобилось однажды ему ѣхать въ западный край. . .

— Дѣло было на самое Рождество. Но, не взирая на то, ѣхать было необходимо. И вотъ, простясь съ рабами и домочадцами, сѣлъ нашъ господинъ на борзаго коня и поѣхалъ. Ёдетъ день, ёдетъ ночь и доѣзжаетъ наконецъ до большой узловой станціи, гдѣ нужно пересаживаться. Но доѣзжаетъ, нужно замѣтить, со значительнымъ опозданіемъ и посему, какъ только сталъ поѣздъ замедлять возлѣ платформы ходъ, выскакиваетъ изъ вагона, хватается за шиворотъ перваго попавшагося носильщика и кричитъ: «Не ушелъ еще курьерскій туда-то?» А носильщикъ вѣжливо усмѣхается и молвитъ: «Только что ушелъ-съ. Вѣдь вы на цѣлыхъ полтора часа изволили опоздать.» — «Какъ, негодяй? Ты шутишь? Что-жъ я теперь дѣлать буду? Въ Сибирь тебя, на каторгу, не плаху!» — «Мой грѣхъ, мой грѣхъ, отвѣчаетъ носильщикъ, да повинную голову и мечъ не сѣчетъ, ваше сіятельство. Извольте подождать пассажирска-

го...» И поникъ головой и покорно побрель нашъ знатный путешественникъ на станцію...

— На станціи же оказалось весьма людно и пріятно, уютно, тепло. Уже съ недѣлю несло вьюгой, и на желѣзныхъ дорогахъ все спуталось, всѣ распisanія пошли къ чорту, на узловыхъ станціяхъ было полнымъ полно. То же самое было, конечно, и здѣсь. Вездѣ народъ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнетъ кушаньями, самоварами, что, какъ извѣстно, очень не плохо въ морозъ и вьюгу. А кромѣ того, былъ этотъ вокзалъ богатый, просторный, такъ что мгновенно почувствовалъ путешественникъ, что не было бы большой бѣды просидѣть въ немъ даже сутки. «Приведу себя въ порядокъ, потомъ изрядно закушу и выпью», съ удовольствіемъ подумалъ онъ, входя въ пассажирскую залу, и тотчасъ же приступилъ къ выполненію своего намѣренія. Онъ побрился, умылся, надѣлъ чистую рубаху и, выйдя черезъ четверть часа изъ уборной помолодѣвшимъ на двадцать лѣтъ, направился къ буфету. Тамъ онъ выпилъ одну, затѣмъ другую, закусилъ сперва пирожкомъ, потомъ жидовской щукой и уже хотѣлъ было еще выпить, какъ вдругъ услыхалъ за спиной своей какой то страшно знакомый, чудеснѣйшій въ мірѣ женскій голосъ. Тутъ онъ, конечно, «порывисто» обернулся — и, можете себе представить, кого увидѣлъ передъ собой? Иду!

— Отъ радости и удивленія, первую секунду онъ даже слова не могъ произнести и только, какъ баранъ на новыя ворота, смотрѣлъ на нее. А она — что значить, друзья мои, женщина! — даже бровью не моргнула. Разумѣется, и она не могла не удивиться и да-

же изобразила на лицѣ нѣкоторую радость, но спокойствіе, говорю, сохранила отъмѣнное. «Дорогой мой, говорить, какими судьбами? Вотъ пріятная встрѣча!» И по глазамъ видно, что говорить правду, но говорить ужъ какъ-то черезчуръ просто и совсѣмъ, совсѣмъ не съ той манерой, какъ говорила когда-то, главное-же. . . чуть-чуть насмѣшливо, что ли. А господинъ нашъ вполнѣ опѣшилъ еще и отъ того, что и во всемъ прочемъ совершенно неузнаваема стала Ида: какъ-то удивительно расцвѣла вся, какъ расцвѣтаетъ какой-нибудь великолѣпнѣйшій цвѣтокъ въ чистѣйшей водѣ, въ какомъ нибудь этакомъ хрустальномъ бокалѣ, а соотвѣтственно съ этимъ и одѣта: большой скромности, большого кокетства и дьявольскихъ денегъ зимняя шляпка, на плечахъ тысячная соболья накидка. . . Когда господинъ неловко и смиренно поцѣловалъ ея руку въ ослѣпительныхъ перстняхъ, она слегка кивнула шляпкой назадъ, черезъ плечо, набрежно сказала: «Познакомьтесь кстати съ моимъ мужемъ» — и тотчасъ же быстро выступилъ изъ-за нея и скромно, но молодцомъ, по-военному представился студентъ.

— Ахъ, наглець! — воскликнулъ Георгій Ивановичъ. — Обыкновенный студентъ?

— Да въ тотъ-то и дѣло, дорогой Георгій Ивановичъ, что необыкновенный, — сказалъ композиторъ съ невеселой усмѣшкой. — Кажется, за всю жизнь не видалъ нашъ господинъ такого, что называется, благороднаго, такого чудеснаго, мраморнаго юношескаго лица. Одѣтъ щеголемъ: тужурка изъ того самого тонкаго свѣтло-сѣраго сукна, что носятъ только самые большіе франты, плотно облегающая ладный

торсь, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусскаго образца и роскошная николаевская шинель съ бобромъ. А при всемъ томъ симпатиченъ и скромнень тоже на рѣдкость. Ида пробормотала одну изъ самыхъ знаменитыхъ русскихъ фамилій, а онъ быстро снялъ фуражку рукой въ бѣлой замшевой перчаткѣ, — въ фуражкѣ, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, — быстро обнажилъ другую руку, тонкую, блѣдно-лазурную и отъ перчатки немножко какъ бы въ мукѣ, щелкнулъ каблуками и почтительно уронилъ на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вотъ такъ штука!» — еще изумленнѣе подумалъ нашъ герой, еще разъ тупо взглянулъ на Иду — и мгновенно понялъ по взгляду, которымъ она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а онъ рабъ, но рабъ однако не простой, а несущій свое рабство съ величайшимъ удовольствіемъ и даже гордостью. — «Очень, очень радъ познакомиться!» — отъ всей души сказалъ этотъ рабъ, крѣпко пожавъ протянутую руку, и съ бодрой и пріятной улыбкой выпрямился. — «И давній поклонникъ вашъ, и много слышалъ о васъ отъ Иды», сказалъ онъ, дружелюбно глядя, и уже хотѣлъ было пуститься въ дальнѣйшую, приличествующую случаю бесѣду, какъ неожиданно былъ перебитъ: «Помолчи, Петрикъ, не конфузъ меня», сказала Ида поспѣшно и обратилась къ господину: — «Дорогой мой, но я васъ тысячу лѣтъ не видала! Хочется безъ конца говорить съ вами, но совсѣмъ нѣтъ охоты говорить при немъ. Ему неинтересны наши воспоминанія, будетъ только скучно и отъ скуки неловко, поэтому пойдемъ, походимъ по платформѣ. . .» И, сказавъ такъ, взяла она нашего раба Бо-

жьяго подъ руку и повела на платформу, а по платформѣ ушла съ нимъ чуть не за версту, гдѣ снѣгъ былъ чуть не по колѣно, и — неожиданно изъяснилась тамъ въ любви къ нему. . .

— То-есть, какъ въ любви? — въ одинъ голосъ спросили мы.

Композиторъ вмѣсто отвѣта опять набралъ воздуха въ грудь, надуваясь и поднимая плечи. Онъ опустилъ глаза и, мѣшковато приподнявшись, потащилъ изъ серебряннаго ушала, изъ шуршащаго льда, бутылку, налилъ себѣ самый большой фужеръ. Скулы его зардѣлись, короткая шея покраснѣла. Пересиливая и стараясь скрыть смущеніе, онъ выпилъ бокаль до дна, какъ квасъ, затянулъ было подъ машину: «Laisse moi, laisse moi contempler ton visage!» — но тотчасъ же оборвалъ и, рѣшительно поднявъ на насъ еще болѣе сузившіеся глаза, сказалъ:

— Да, то-есть такъ, что въ любви. . . И объясненіе это было, къ несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумѣется, но — фактъ. Было именно такъ, какъ я вамъ докладываю. Пошли они по платформѣ, и тотчасъ начала она быстро и съ притворнымъ оживленіемъ спрашивать его о Машѣ, о томъ, какъ, молъ, она поживаетъ и какъ поживаютъ ихъ общіе московскіе знакомые, что вообще новенькаго въ Москвѣ и такъ далѣе, затѣмъ сообщила, что замужемъ она уже второй годъ, что жили они съ мужемъ это время частью въ Петербургѣ, частью за границей, а частью въ ихъ имѣнны подъ Витебскомъ. . . Господинъ же только поспѣшно шелъ за ней и уже чувствовалъ, что дѣло что-то неладно, что сейчасъ будетъ

что-то дурацкое, неправдоподобное, и во всё глаза смотрѣлъ на бѣлизну снѣжныхъ сугробовъ, въ невѣроятномъ количествѣ завалившихъ все и вся вокругъ, — всё эти платформы, пути, крыши построекъ и красныхъ и зеленыхъ вагоновъ, сбившихся на всѣхъ путяхъ. . . смотрѣлъ и съ страшнымъ замираніемъ сердца понималъ только одно: то, что, оказывается, онъ уже много лѣтъ звѣрски любитъ эту самую Иду. И вотъ, можете себѣ представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформѣ Ида подошла къ какимъ-то ящикамъ, смахнула съ одного изъ нихъ снѣгъ муфтой, сѣла и, поднявъ на господина свое слегка поблѣднѣвшее лицо, свои фіалковые глаза, до умопомраченія неожиданно, безъ предышки сказала ему: «А теперь, дорогой, отвѣтите мнѣ еще на одинъ вопросъ: знали-ли вы и знаете-ли вы теперь, что я любила васъ цѣлыхъ пять лѣтъ и люблю до сихъ поръ?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопредѣленно и глухо, вдругъ загрохотала героически, торжественно и грозно. Композиторъ смолкъ и поднялъ на насъ какъ бы испуганные и удивленные глаза. Потомъ негромко произнесъ:

— Да, вотъ что сказала она ему. . . А теперь позвольте спросить: какъ изобразить всю эту сцену дурацкими человѣческими словами? Что я могу сказать вамъ, кромѣ пошлостей, про это поднятое лицо, освѣщенное блѣдностью того особаго снѣга, что бываетъ послѣ метелей, и про нѣжнѣйшій неизъяснимый тонъ этого лица, тоже подобный этому снѣгу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снѣжнымъ воздухомъ и вдругъ признавшейся

вамъ въ любви и ждущей отъ васъ отвѣта на это признаніе? Что я сказалъ про ея глаза? Фіалковые? Не то, не то, конечно, не то, ни къ чорту не годится! А полуоткрытыя губы? А выраженіе, выраженіе всего этого въ общемъ, вмѣстѣ, то-есть лица, глазъ и губъ? А длинная соболья муфта, въ которую были спрятаны ея руки, а колѣни, которыя обрисовывались подъ какой-то клѣтчатою сине-зеленою шотландскою матеріей? Боже мой, да развѣ можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что-же можно было отвѣтить на это съ ногъ сшибательное по неожиданности, ужасу и счастьемъ признаніе, на выжидающее выраженіе этого довѣрчиво поднятаго, поблѣднѣвшаго и искажившагося (отъ смущенія, отъ какого-то подобія улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что отвѣтить на всѣ эти вопросы, съ удивленіемъ глядя на сверкающіе глазки и красное лицо нашего пріятеля. И онъ самъ отвѣтилъ себѣ:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновенія, когда ни единаго звука нельзя вымолвить. И, къ счастью, къ великой чести нашего путешественника, онъ ни звука и не вымолвилъ. И она поняла его окаменѣніе, она видѣла его лицо. Подождавъ нѣкоторое время, побывъ неподвижно среди того нелѣпаго и жуткаго молчанія, которое послѣдовало послѣ ея страшнаго вопроса, она поднялась и, вынувъ теплую руку изъ теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нѣжно и крѣпко поцѣловала однимъ изъ тѣхъ поцѣлуесть, что помнятся потомъ не только до гробовой доски, но и въ могилѣ. Да-съ, только и всего: поцѣловала — и ушла. И тѣмъ вся эта исторія и кончилась. . . И вообще до-

вольно объ этомъ, — вдругъ рѣзко мѣняя тонъ, сказалъ композиторъ и громко, съ напускной веселостью прибавилъ: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всѣхъ любившихъ насъ, за всѣхъ, кого мы, идіоты, не оцѣнили, съ кѣмъ мы были счастливы, блаженны, а потомъ разошлись, растерялись въ жизни навсегда и навѣки и все-же навѣки связаны самой страшной въ мірѣ связью! И давайте условимся такъ: тому, кто въ добавленіе ко всему вышеизложенному прибавить еще хоть единое слово, я пушу въ черепъ вотъ этой самой шампанской бутылкой. — Услужайщій! — закричалъ онъ на всю залу: — несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я могъ окунуть въ него морду прямо съ рогами!

Завтракали мы въ этотъ день до одиннадцати часовъ вечера. А послѣ поѣхали къ Яру, а отъ Яра — въ Стрѣльну, гдѣ передъ разсвѣтомъ ѣли блины, потребовали водки самой простой, съ красной головкой, и вели себя въ общемъ возмутительно: пѣли, орали и даже плясали казачка. Композиторъ плясалъ молча, свирѣпо и восторженно, съ легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройкѣ домой уже совсѣмъ утромъ, страшно морознымъ и розовымъ. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось изъ-за крышъ ледяное красное солнце и съ колокольни сорвался первый, самый какъ-будто тяжкій и великолѣпный ударъ, потрясшій всю морозную Москву, и композиторъ вдругъ сорвалъ изъ себя шапку и что есть силы, со слезами закричалъ на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

Приморскія Альпы, 1925.

МОРДОВСКИЙ САРАФАНЪ

Зачѣмъ, собственно, иду я къ ней, къ этой странной и вдобавокъ беременной женщинѣ? Зачѣмъ завязаль и поддерживаю еще одно ненужное знакомство? Мудрить тутъ, конечно, не надъ чѣмъ, а все-таки глупый визитъ. Глупый, фальшивый и вообще непріятный какой-то. Опять встрѣтились вчера въ Леонтьевскомъ и опять — радостная улыбка, минута несвязнаго, неловкаго разговора, а затѣмъ крѣпкое рукопожатіе и просьба:

— Заходите какъ-нибудь на огонекъ! Буду сердечно рада. Заходите, когда вздумается, я всегда дома. Заходите завтра, я вамъ покажу мой новый мордовскій сарафанъ. . .

И вотъ опять иду и даже спѣшу почему-то.

Навстрѣчу дуетъ сырой мартовскій вѣтеръ. Надъ Москвой черная весенняя ночь. Впереди чисто блестятъ фонари. Въ вышинѣ, въ черно-синемъ небѣ, бѣлѣютъ пухлыя облака, снизу освѣщенныя городомъ. Справа теряются въ нихъ таинственно мерцающія старой позолотой церковныя маковки. И отовсюду красновато глядятъ безчисленные глаза домовъ, кажущихся въ темнотѣ огромными.

Опять, вѣроятно, ждала весь день, готовилась, — ходила покупать фрукты и печенья, принарядилась. . . Она вообще вообразила, кажется, будто жизнь ея вдругъ приобрѣла какой-то радостный интересъ, будто нашелся какой-то «чуткій» человекъ, который, наконецъ, оцѣнитъ ея неоцѣненную мужемъ душу. — При мысли обо всемъ объ этомъ такъ стыдно, что хочется повернуть и бѣжать назадъ.

Однако, вотъ и подъѣздъ. Вестибюль довольно бѣдно освѣщенный, не располагающій къ посѣщеніямъ. Швейцаръ молодой, въ поддевкѣ, дурного тона. Только что стукнулъ, входя, какъ онъ тотчасъ поднялъ изнутри свою красную занавѣсочку на дверномъ окнѣ и любопытно выглянулъ. Подавляя въ себѣ неловкость, независимо прохожу мимо и безъ отдыха поднимаюсь по узкой лѣстницѣ, устланной затоптаннымъ коврикомъ. Ухъ, чортъ, какъ высоко и какъ вообще все это нелѣпо! Но все равно — уже позвонилъ. Поспѣшные шаги за дверью — и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой.

Опять радостная и, какъ всегда, почему-то удивленная улыбка, мигъ обоюдного смущенія — и торопливая, видимо, заранѣе приготовленная фраза:

— Ахъ, какъ мило, что сдержали обѣщаніе, забрели на огонекъ! А я совсѣмъ въ одиночествѣ, даже прислугу отпустила, у нихъ, вѣдь, знаете, настоящее помѣшательство, этотъ кинематографъ. . . Ну-съ разоблачайтесь и идемъ чай пить. . .

Дался ей этотъ «огонекъ»! А въ придачу «разоблачайтесь» и безтактный поцѣлуй въ високъ, когда я поцѣловалъ ея руку, и заявленіе объ отсутствіи прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако, вхожу въ гости-

ную бодро, какъ ни въ чемъ не бывало, развязно протирая очки платкомъ. И, протирая, думаю: да, и волосы убраны очень хорошо, видимо, у парикмахера, — значить, я былъ правъ, ждала, готовилась, — и потомъ это болотно-зеленое бархатное платье, пріоткрывающее полныя груди, и жемчугъ между ними, и чулки изъ сѣраго шелка, и атласныя туфельки. . .

— Присаживайтесь, милый Петръ Петровичъ, я сію минуту. . .

И быстро уходитъ. — Очень возбуждена и, надо правду сказать, очень не плоха. Какая-то особая красота беременности, чудесный расцвѣтъ всего тѣла. Губы уже слегка воспалены, припухшія, но зато великолѣпно темны и блестящи глаза.

Со вздохомъ падаю всей своей тушей на диванъ. Обстановка, конечно, обычная: раскрытое черное пианино, надъ нимъ портретъ грознаго широкоскулага Бетховена, возлѣ большая лампа на высокой подставкѣ подъ огромнымъ розовымъ абажуромъ, передъ диваномъ столикъ, спиртовка для чайника, пирожныя, фрукты, золотыя ножички; а на креслахъ въ изломанныхъ и беспомощныхъ позахъ лежатъ куклы: баба въ желто-красномъ сарафанѣ, добрый молодецъ въ жаровой рубашкѣ, въ плисовой безрукавкѣ и въ круглой шляпкѣ съ павлиньими перьями, маркиза въ бѣломъ парикѣ изъ ваты, арлекинъ, Коломбина. . .

— Ну-съ, вотъ и я.

Ставить чайникъ на спиртовку, зажигаетъ ее, собираетъ съ кресель игрушки и съ улыбкой валитъ ихъ мнѣ на колѣни:

— Мои новые шедевры. Любуйтесь и критикуйте.

Любуюсь; для видимости интереса, вниманія и безпристрастности выдумываю маленькія придирки, пересыпая ихъ лестью. Она наливаетъ чай, — «вѣдь, вамъ покрѣпче, не правда-ли?» — и съ улыбкой подаетъ мнѣ чашку, оставивъ мизинецъ. И начинается бесѣда, если только это можно назвать бесѣдой, такъ какъ говорить, по обыкновенію, только она. О чемъ? О томъ же, о чемъ и всегда. Сперва объ игрушкахъ, которыхъ я терпѣть не могу, но которыя я продолжаю разсматривать : среди разговора, такъ какъ это «ея страсть, то единственное, на чемъ она отводитъ душу, созданную въ сущности только для искусства», затѣмъ о мужѣ, котораго я и до сихъ поръ ни разу не видалъ и о которомъ она говоритъ съ фальшивой веселостью, — «спитъ до десяти, ѣдетъ на службу, обѣдаетъ, снова спитъ и снова уѣзжаетъ!» — и, наконецъ, о своемъ первомъ, умершемъ, ребенкѣ. Говоритъ она только о себѣ. Обо мнѣ, хотя-бы изъ приличія, никогда ни единого словечка, — до сихъ поръ не знаетъ и не проявляетъ ни малѣйшаго намѣренія узнать, кто я, что я, гдѣ служу, женатъ или холостъ. . .

Возбуждена она нынче особенно. И возбуждена и какъ будто очень весела. Говоритъ безъ умолку, съ необыкновенной выразительностью и съ такой требовательностью вниманія, что я вскорѣ начинаю шалѣть, цѣпенѣть и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакиваетъ, — «ахъ, главное-то я и забыла!» — на мгновение скрывается въ сосѣдней комнатѣ и возвращается съ торжествующей улыбкой:

— Voilà! И все собственноручно! Правда, хорошо?

Въ рукахъ у нея что-то странное и страшное: длинный балахонъ изъ суровой крестьянской холстины съ

нашивками и вышивками на плечахъ, на рукавахъ, на груди и на подолѣ темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показываетъ мнѣ его, прикидываетъ къ себѣ, къ своимъ полнымъ грудямъ и округляющемуся животу, и вопросительно и радостно смотритъ на меня. Я встаю и опять съ притворнымъ вниманіемъ осматриваю, восхищаюсь, а межъ тѣмъ мнѣ ужъ просто неволю: что-то мрачное, древнее и какъ-будто гробовое есть въ этомъ балахонѣ, что-то жуткое и очень непріятное вызываетъ онъ во мнѣ въ связи съ ея беременностью и тревожной веселостью. Вѣроятно, умереть родами. . .

Бросивъ сарафанъ на піанино, садится рядомъ со мною и, не спуская съ меня расширенныхъ глазъ, начинаетъ говорить о своихъ чувствахъ къ своему будущему ребенку. Они необыкновенны, невыразимы, эти чувства. Она «съ ужасомъ и восторгомъ чувствуетъ въ себѣ новое бытіе и уже полна такой любовью, передъ которой всякая любовь и особенно къ мужчинѣ — кощунство, пошлость». Если Богъ отниметъ у нея эту любовь, она покончитъ съ собой, не задумываясь ни на минуту, — это она уже твердо рѣшила. . . Или же уйдетъ въ монастырь. Мысль о монастырѣ — ея давняя, завѣтная мысль. О, если-бы не замужество, не дѣти! Она дня не стала бы медлить съ этимъ! Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой?

— Скажите, родной, для кого? — горячо спрашиваетъ она, уставясь на меня. — Ужъ не для него-ли, который врядъ-ли и подозреваетъ, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мнѣ во всемъ мірѣ не съ кѣмъ подѣлиться?

Не спуская съ меня глазъ, она пытается смѣяться, — вѣдь, право-же, ея мужъ даже не человекъ какъ будто, а нѣчто дикое въ своей приверженности спать при малѣйшей возможности! Она то откидывается къ спинкѣ кресла, то подается впередъ, кладя руку на мое колѣно, и я слышу всѣ ея запахи, — дыханія, волосъ, тѣла, платья. Щеки ея теперь пылають, глаза прямо великолѣпны, движенья рѣзки, и на груди, на пальцахъ, въ ушахъ сверкають драгоценныя камешки. А я все смотрю на ея круглящійся подъ бархатомъ животъ, на то, какъ она перекидываетъ нога на ногу, высоко показывая свой сѣрый не туго натянутый чулокъ. . . И вдругъ, понявъ, что настала наконецъ именно та минута, тайная надежда на которую и вела меня къ ней и не оставляла весь вечеръ, беру ея руку и, бормоча: — «Полно, дорогая, успокойтесь!» — тяну ее къ себѣ. А она вдругъ закусываетъ нижнюю губу, быстро подноситъ къ губамъ платокъ, быстро пересаживается ко мнѣ на диванъ и со слезами падаетъ головой на мою грудь. . .

Возвращаюсь я во второмъ часу ночи. На улицахъ ни души, вѣтеръ перемѣнился, усилился и пахнетъ моремъ, въ лицо мнѣ иногда попадаютъ капли дождя. Облака уже не блѣдуютъ вверху, густая чернота виситъ надъ Москвой. И я быстро иду впередъ.

— Бѣжать, бѣжать, завтра же! — неотступно стоитъ у меня въ головѣ. — Въ Кіевъ, въ Варшаву, въ Крымъ, — куда глаза глядятъ!

Приморскія Альпы, 1925 г.

ДѢЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА

I

Ужасное дѣло это — дѣло странное, загадочное, неразрѣшимое. Съ одной стороны оно очень просто, а съ другой очень сложно, похоже на бульварный романъ, — такъ всѣ и называли его въ нашемъ городѣ, — и въ то же время могло бы послужить къ созданію глубокаго художественнаго произведенія. . . Вообще, справедливо сказалъ на судѣ защитникъ:

— Въ этомъ дѣлѣ, сказалъ онъ въ началѣ своей рѣчи, нѣтъ какъ будто мѣста для спора между мной и представителемъ обвиненія: вѣдь, подсудимый самъ призналъ себя виновнымъ, вѣдь, его преступленіе и его личность, равно какъ и личность его жертвы, волю которой онъ будто бы изнасиловалъ, кажутся чуть ли не всѣмъ, въ этой залѣ присутствующимъ, не достойными особаго мудрствованія по ихъ якобы достаточной пустотѣ и обыденности. Но все это совсѣмъ не такъ, все это только одна видимость: спорить есть о чемъ, поводовъ для спора и размышленій очень много. . .

И далѣе:

— Допустимъ, что моя цѣль — добиться только снисхожденія подсудимому. Я бы могъ тогда сказать немногое. Законодатель не указалъ, чѣмъ именно дол-

жны судьби руководствоваться въ случаяхъ, подобныхъ нашему, онъ оставилъ большой просторъ ихъ разумѣнію, совѣсти и зоркости, которымъ и надлежитъ въ концѣ концовъ подобрать ту или иную рамку закона, наказующаго дѣяніе. И вотъ я и постарался бы выставить на первое мѣсто все лучшее, что есть въ подсудимомъ, и все, что смягчаетъ его вину, будиль бы въ судьяхъ чувства добрыя и дѣлалъ бы это тѣмъ настойчивѣе, что, вѣдь, онъ отрицаетъ лишь одно въ своемъ поступкѣ: сознательную злую волю. Однако, даже и въ этомъ случаѣ, могъ ли бы я избѣжать спора съ обвинителемъ, опредѣлившимъ преступника не болѣе не менѣе, какъ «уголовнымъ волкомъ»? Во всякомъ дѣлѣ все можно воспринять по разному, все можно освѣтить такъ или иначе, представить по-своему, на тотъ или иной ладъ. А что же мы видимъ въ нашемъ дѣлѣ? То, что нѣтъ, кажется, ни одной черты, ни одной подробности въ немъ, на которую бы мы съ обвинителемъ смотрѣли одинаково, которую мы могли бы передать, освѣтить въ согласіи: «все такъ, да не такъ!» долженъ каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнѣе, такъ это то, что «все не такъ» въ самой сути дѣла. . .

Вотъ какъ началось оно, это дѣло.

Было 19 іюня прошлаго года. Было раннее утро, былъ шестой часъ, но въ столовой ротмистра лейбъ-гвардіи гусарскаго полка Лихарева было уже свѣтло, душно, сухо и жарко отъ лѣтняго городского солнца. Было, однако, еще тихо, тѣмъ болѣе, что квартира ротмистра находилась въ одномъ изъ корпусовъ гусарскихъ казармъ, расположенныхъ за городомъ. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, рот-

мистръ крѣпко спалъ. На столѣ стояли ликеры, чашки съ недопитымъ кофеемъ. Въ сосѣдней комнатѣ, въ гостиной, спалъ другой офицеръ, штабъ-ротмистръ графъ Кошицъ, а еще дальше, въ кабинетѣ, корнетъ Сѣвскій. Утро было, словомъ, вполне обычное, картина простая, но, какъ всегда это бываетъ, когда среди обычнаго случается что-нибудь необычное, тѣмъ ужаснѣе, удивительнѣе и какъ будто неправдоподобнѣе было то, что внезапно случилось въ квартирѣ ротмистра Лихарева раннимъ утромъ 19 іюня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, въ прихожей звякнулъ звонокъ, потомъ послышалось, какъ осторожно и легко, босикомъ, пробѣжалъ отворять дверь, а затѣмъ раздался намѣренно громкій голосъ:

— Дома?

Съ тѣмъ же намѣреннымъ шумомъ и вошелъ приходшій, особенно свободно распахнувъ дверь въ столовую, особенно смѣло стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистръ поднялъ изумленное и заспанное лицо: передъ нимъ стоялъ его товарищъ по полку, корнетъ Елагинъ, человекъ маленькій, щуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривыхъ и необыкновенно тонкихъ ногахъ, обутой съ тѣмъ щегольствомъ, которое было, какъ онъ любилъ говорить, его «главной» слабостью. Онъ быстро снялъ съ себя лѣтнюю шинель и, бросивъ ее на стулъ, громко сказалъ: «Вотъ вамъ мои погоны!» А затѣмъ прошелъ къ дивану, стоявшему возлѣ противоположной стѣны, повалился на него спиной и закинулъ руки за голову.

— Постой, постой, — пробормоталъ ротмистръ, слѣдя за нимъ вытаращенными глазами: — откуда ты, что съ тобой?

— Я убилъ Маню, — сказалъ Елагинъ.

— Ты пьянъ? Какую Маню? — спросилъ ротмистръ.

— Артистку Марію Іосифовну Сосновскую.

Ротмистръ спустилъ ноги съ дивана:

— Да ты что, шутишь?

— Увы, къ сожалѣнію, а можетъ, и къ счастью, ничуть.

— Кто это тамъ? Что случилось? — крикнулъ графъ изъ гостиной.

Елагинъ потянулся и легкимъ ударомъ ноги въ дверь распахнулъ ее.

— Не ори, — сказалъ онъ. — Это я, Елагинъ. Я застрѣлилъ Маню.

— Что? — сказалъ графъ и, мгновеніе помолчавъ, вдругъ захохоталъ: — А, вотъ оно что! — закричалъ онъ весело. — Ну, чертъ съ тобой, на этотъ разъ прощается. Хорошо, что разбудилъ, а то бы непременно проспали, вчера опять до трехъ забавлялись.

— Даю тебѣ слово, что убилъ, — настойчиво повторилъ Елагинъ.

— Врешь, братецъ, врешь! — закричалъ и хозяинъ, берясь за носки. — А я уже было испугался, не случилось ли чего на самомъ дѣлѣ. . . Ефремъ, чаю!

Елагинъ полѣзъ въ карманъ штановъ, вытащилъ изъ него небольшой ключикъ и, черезъ плечо ловко бросивъ его на столъ, сказалъ:

— Ступайте, посмотрите сами. . .

На судѣ прокуроръ много говорилъ о цинизмѣ и ужасѣ нѣкоторыхъ сценъ, составляющихъ драму Елагина, не разъ упиралъ и на эту сцену. Онъ забылъ, что въ это утро ротмистръ Лихаревъ только въ пер-

вую минуту не замѣтилъ «сверхъестественной», какъ онъ выразился, блѣдности Елагина и чего-то «нечеловѣческаго» въ его глазахъ, а затѣмъ былъ «просто пораженъ и тѣмъ и другимъ»...

II

Итакъ, вотъ что произошло утромъ 19-го іюня прошлаго года.

Черезъ полчаса графъ Кошицъ и корнетъ Сѣвскій уже стояли на подъѣздѣ того дома, гдѣ жила Сосновская. Теперь имъ было больше не до шутокъ.

Извозчика они чуть не загнали, изъ пролетки выскочили опроретью, совали ключъ въ замочную скважину и звонили отчаянно, но ключъ не подходилъ и за дверями была тишина. Потерявъ терпѣнье, быстро пошли во дворъ, стали искать дворника. Дворникъ побѣжалъ съ чернаго хода на кухню и, возвратясь сказалъ, что Сосновская, по словамъ горничной, дома не ночевала, — уѣхала еще съ вечера, захвативъ съ собой какой-то свертокъ. Графъ и корнетъ опѣшили: что же въ такомъ случаѣ дѣлать? Подумавъ, пожавъ плечами, сѣли и поѣхали въ часть, взявъ съ собой дворника. Изъ части позвонили къ ротмистру Лихареву. Ротмистръ бѣшено крикнулъ въ телефонъ:

— Этотъ идиотъ, надъ которымъ я уже ревѣть готовъ, забылъ сказать, что нужно было ѣхать вовсе не на ея квартиру, а въ ихъ любовный притонъ: Староградская, 14. Слышите? Староградская, 14. Нѣчто вродѣ парижской гарсоньерки, входъ прямо съ улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворникъ сидѣлъ на козлахъ, околоточный, со сдержанной независимостью, сѣлъ въ пролетку, противъ офицеровъ. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не вѣрилось, что въ такое солнечное и оживленное утро кто-то можетъ лежать гдѣ-то мертвымъ, и втупикъ ставила мысль, что это сдѣлалъ двадцатидвухлѣтній Сашка Елагинъ. Какъ онъ могъ на это рѣшиться? За что онъ ее убилъ, почему и какъ убилъ? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались безъ всякаго отвѣта.

Когда, наконецъ, остановились возлѣ стараго и непривѣтливаго двухъэтажнаго дома на Староградской, графъ и корнетъ, по ихъ словамъ, «совсѣмъ пали духомъ». Неужели это здѣсь и неужели это нужно видѣть, хотя и тянетъ видѣть и такъ неодолимо тянетъ? Зато околоточный сразу почувствовалъ себя строгимъ, бодрымъ и увѣреннымъ.

— Позвольте ключъ, — сухо и твердо сказалъ онъ, и офицеры заторопились отдать ему ключъ съ той-же робостью, какъ сдѣлалъ бы это дворникъ.

Посрединѣ дома были ворота, за воротами виднѣлся небольшой дворъ и деревцо, зелень котораго была какъ-то противоестественно ярка или казалась такой отъ темно-сѣрыхъ каменныхъ стѣнъ. А вправо отъ воротъ и находилась та самая таинственная дверь, выходившая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вотъ околоточный, нахмурившись, всунулъ ключъ, и дверь отворилась, и графъ съ корнетомъ увидели что-то вродѣ совершенно темнаго корридора. Околоточный, точно чутьемъ угадавъ, гдѣ надо искать, протянулъ впередъ руку, шаркнулъ ею по стѣнѣ и ос-

вѣтилъ узкое и мрачное помѣщеніе, въ глубинѣ котораго, между двухъ кресель, стоялъ столикъ, а на немъ тарелки съ остатками дичи и фруктовъ. Но еще мрачнѣе было то, что представилось глазамъ вошедшихъ далѣе. Въ правой стѣнѣ корридора оказался небольшой входъ въ сосѣднюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловымъ фонарикомъ, висѣвшимъ подъ потолкомъ, подъ громаднымъ зонтомъ изъ чернаго шелка. Чѣмъ-то чернымъ были затянуты сверху до низу и всѣ стѣны этой комнаты, совсѣмъ глухой, лишенной оконъ. Тутъ, тоже въ глубинѣ, стоялъ большой и низкій турецкій диванъ, а на немъ, въ одной сорочкѣ, съ полуоткрытыми глазами и губами, съ поникшей на грудь головой, съ вытянутыми конечностями, съ немного раздвинутыми ногами, лежала, бѣлѣла молоденькая женщина рѣдкой красоты...

III

Рѣдкой красота покойной была потому, что она на рѣдкость удовлетворяла тѣмъ требованіямъ, которыя ставятъ себѣ, на примѣръ, модные художники, изображающіе идеально хорошихъ женщинъ. Тутъ было все, что полагается: прекрасное сложеніе, прекрасный тонъ тѣла, маленькая и безъ единого изъяна нога, дѣтская, простодушная прелесть губъ, небольшія и правильныя черты лица, чудесныя волосы... И все это было теперь уже мертво, все стало каменѣть, блекнуть, и красота дѣлала мертвую еще страшнѣе. Волосы ея были въ полномъ порядкѣ, прическа такова, что хотъ

на балъ. Голова лежала на приподнятой диванной подушкѣ и подбородокъ слегка касался груди, что давало ей остановившимся, полуоткрытымъ глазамъ и всему ея лицу какъ бы нѣсколько озадаченное выраженіе. И все это странно озарялъ опаловый фонарикъ, висѣвшій подъ потолкомъ, въ днѣ огромнаго чернаго зонта, похожаго на какую-то хищную птицу, распростершую надъ мертвой свои перепончатая крылья.

Въ общемъ картина поразила даже околоточнаго. Затѣмъ всѣ несмѣло перешли къ болѣе подробному осмотру ея.

Прекрасныя обнаженныя руки покойной были ровно вытянуты вдоль тѣла. На груди ея, на кружевахъ рубашки, лежали двѣ визитныхъ карточки Елагина, а у ногъ гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядомъ съ ихъ женственной наготой. Графъ хотѣлъ было взять ее, чтобы вынуть изъ ноженъ, съ нелѣпой мыслью, нѣтъ ли на ней слѣдовъ крови. Околоточный удержалъ его отъ этого незаконнаго поступка.

— Ахъ, конечно, конечно, — шопотомъ пробормоталъ графъ, — трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляетъ то, что я нигдѣ не вижу ни крови, ни вообще слѣдовъ преступленія. Очевидно, отравленіе?

— Имѣйте терпѣніе, — наставительно сказала околоточный, — подождемъ слѣдователя и доктора. Но, несмѣнно, похоже и на отравленіе. . .

И точно, было похоже. Крови нигдѣ не было, — ни на полу, ни на диванѣ, ни на тѣлѣ, ни на сорочкѣ покойницы. На креслѣ, возлѣ дивана, лежали женскіе панталоны и пенюаръ, подъ ними голубая съ перловымъ отливомъ рубашечка, юбка изъ очень хорошей

темно-сѣрой матеріи и шелковое сѣрое манто. Все это было брошено на диванъ какъ попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль объ отравленіи подтверждало еще то, что оказалось на выступѣ стѣны надъ диваномъ: на этомъ выступѣ, среди шампанскихъ бутылокъ и пробокъ, огарковъ и женскихъ шпилекъ, среди исписанныхъ и изорванныхъ клочковъ бумаги, стоялъ стаканъ съ недопитымъ портеромъ и небольшая склянка, на бѣломъ ярлыкѣ которой зловѣще чернѣло: «Op. Pulv.»

Но какъ разъ въ ту минуту, когда околоточный, графъ и корнетъ поочередно разсматривали ярлыкъ, на улицѣ послышался шумъ подъѣхавшаго экипажа съ докторомъ и слѣдователемъ, и черезъ нѣсколько минутъ оказалось, что Елагинъ говорилъ правду: Сосновская была убита изъ револьвера. Кровавыхъ пятенъ на сорочкѣ не было. Но зато подъ сорочкой обнаружили въ области сердца багровое пятно, а посрединѣ пятна круглую, съ обожженными краями ранку, изъ которой еще сочилась жидкая кровь, ничего не испачкавшая вслѣдствіе того, что ранка была прикрыта комкомъ носового платка. . .

Что еще установила врачебная экспертиза? Немного: то, что въ правомъ легкомъ покойной есть слѣды туберкулеза; что выстрѣлъ былъ произведенъ въ упоръ и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все таки могла послѣ выстрѣла произнести короткую фразу; что борьбы между убійцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вмѣстѣ съ портеромъ небольшое (недостаточное для отравленія) количество опія; и, наконецъ, то, что она имѣла въ эту роковую ночь сношеніе съ мужчиной. . .

Но почему, за что убилъ ее этотъ мужчина? Елагинъ упорно твердилъ въ отвѣтъ на этотъ вопросъ: потому, что оба они — и онъ самъ, и Сосновская — были «въ трагическомъ положеніи», что они не видѣли иного выхода изъ него, кромѣ смерти, и что, убивая Сосновскую, онъ лишь исполнилъ ея приказаніе. Однако, этому какъ будто совершенно противорѣчили предсмертныя записки покойной. Въдъ на ея груди нашли двѣ его визитныхъ карточки, исписанныхъ ея рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

— Генералу Коновницыну, предсѣдателю правленія театра. Пріятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нѣсколькихъ лѣтъ. . . Шлю послѣдній привѣтъ и прошу выдать моей матери всѣ деньги за мои послѣдніе выходы. . .

На другой:

— Человѣкъ этотъ поступилъ справедливо, убивая меня. . . Мать, бѣдная, несчастная! Не прошу прощенія, такъ какъ умираю не по собственной волѣ. . . Мать! Мы увидимся. . . тамъ, наверху. . . Чувствую — это послѣдній моментъ. . .

На такихъ же карточкахъ писала Сосновская и другія предсмертныя свои записки. Онѣ валялись на выступѣ стѣны и были тщательно изорваны. Ихъ сложили, склеили и прочли слѣдующее:

— Человѣкъ этотъ требуетъ моей и своей смерти. . . Живой мнѣ не выйти. . .

— Итакъ, насталь мой послѣдній часъ. . . Боже, не оставь меня. . . Послѣдняя моя мысль матери и святому искусству. . .

— Бездна, бездна! Человѣкъ этотъ мой рокъ. . . Боже, спаси, помоги. . .

И, наконецъ, самое загадочное:

— Quand même pour toujours. . .

Всѣ эти записки, какъ тѣ, что найдены на груди покойной въ полной цѣлости, такъ и тѣ, что найдены на выступѣ стѣны въ клочкахъ, какъ будто противорѣчили увѣреніямъ Елагина. Но именно только «какъ будто». Почему были не изорваны тѣ двѣ карточки, которыя лежали на груди Сосновской и на одной изъ которыхъ стояли такія роковыя для Елагина слова, какъ «умираю не по собственной волѣ?» Елагинъ не только не изорвалъ и не унесъ ихъ съ собой, до даже самъ (потому что кто-же иной могъ это сдѣлать?) положилъ ихъ на самое видное мѣсто. Онъ не изорвалъ ихъ впопыхахъ? Впопыхахъ онъ, конечно, могъ забыть изорвать ихъ. Но какъ же онъ могъ впопыхахъ положить на грудь покойной столь опасныя для него записки? И былъ-ли онъ вообще впопыхахъ?

IV.

Прокуроръ говорилъ:

— Есть два разряда преступниковъ. Во-первыхъ, преступники случайные, злодѣяніе которыхъ есть плодъ несчастнаго стеченія обстоятельствъ и раздраженія, научно называемаго «короткимъ безуміемъ». И, во-вторыхъ, преступники, совершающіе то, что они совершаютъ, по злему и преднамѣренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественнаго порядка,

это — уголовные волки. Къ какому-же разряду причислимъ мы человѣка, сидящаго передъ нами на скамьѣ подсудимыхъ? Конечно, ко второму. Онъ несомнѣнно уголовный волкъ, онъ совершилъ преступленіе потому, что озвѣрѣлъ отъ праздной и разнузданной жизни. . .

Эта тирада весьма не подходила къ Елагину: онъ сидѣлъ на судѣ, опершись на руку, закрываясь ею отъ публики, и на всѣ вопросы отвѣчалъ тихо, отрывисто и съ какой-то душоу раздирающей робостью и печалью. И, однако, былъ прокуроръ и правъ: на скамьѣ подсудимыхъ сидѣлъ преступникъ никакъ не обычный и пораженный вовсе не «короткимъ безуміемъ».

Прокуроръ поставилъ два вопроса: во-первыхъ, разумѣется, совершено-ли содѣянное въ состояніи аффекта, то есть раздраженія, и, во-вторыхъ, было-ли оно только невольнымъ пособничествомъ къ убійству, — и отвѣтилъ на оба вопроса съ полной увѣренностью: нѣтъ и нѣтъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, отвѣчая на первый вопросъ: ни о какомъ аффектѣ не можетъ быть и рѣчи и прежде всего потому, что аффекты не длятся по нѣсколько часовъ. Да и что могло вызвать аффектъ Елагина?

Для рѣшенія послѣдняго вопроса прокуроръ задавалъ себѣ множество мелкихъ вопросовъ и тотчасъ-же отвергалъ или даже высмѣивалъ ихъ. Онъ говорилъ:

— Не пилъ-ли Елагинъ въ роковой день больше обыкновеннаго? Нѣтъ, онъ вообще много пилъ, въ этотъ-же день не больше обыкновеннаго.

— Здоровый-ли человѣкъ былъ и есть подсудимый? Присоединяюсь къ мнѣнію врачей, его изслѣдовав-

шихъ: вполне здоровый; но совершенно не привыкшій себя обуздывать.

— Не вызванъ-ли былъ аффектъ невозможностью брака между нимъ и любимой имъ женщиной, если только допустить, что онъ дѣйствительно любилъ ее? Нѣтъ, потому что мы точно знаемъ: подсудимый и не заботился, не предпринималъ рѣшительно никакихъ шаговъ къ устройству этого брака.

И далѣе:

— Не привелъ-ли его въ аффектъ предполагаемый отъѣздъ Сосновской за границу? Нѣтъ, потому что онъ давно зналъ объ этомъ отъѣздѣ.

— Но тогда, можетъ быть, привела его въ аффектъ мысль о разрывѣ съ Сосновской, о разрывѣ, который явится слѣдствіемъ отъѣзда? Опять нѣтъ, потому что о разрывѣ они говорили и до этой ночи тысячу разъ. А если такъ, что-же наконецъ? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ея, такъ сказать, навожденіе, ея гнетъ, равно какъ и вообще гнетъ всей этой болѣзненной и жуткой ночи? Но что до разговоровъ о смерти, то они никакъ не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между нимъ и его возлюбленной непрестанно и, конечно, уже давнымъ давно пріѣлись ему. А про навожденіе просто смѣшно говорить. Оно, вѣдь, весьма умѣрялось вещами весьма прозаическими: ужиномъ, остатками этого ужина на столѣ, бутылками и даже, простите, ночной посудой. . . Елагинъ ѣлъ, пилъ, отправлялъ свои естественныя потребности, выходилъ въ другую комнату то за виномъ, то за ножомъ, чтобы очинить карандашъ. . .

И прокуроръ заключилъ такъ:

— Что же до того, было-ли убійство, совершенное Елагинымъ, исполненіемъ воли покойной, то тутъ долго разсуждать не приходится: у насъ для рѣшенія этого вопроса есть голословныя увѣренія Елагина, что Сосновская сама просила убить ее, — и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по собственной волѣ»...

V

Многое можно было возразить на частности въ рѣчи прокурора. «Подсудимый человекъ вполне здоровый...» Но — гдѣ граница здоровья и нездоровья? «Онъ не предпринималъ никакихъ шаговъ къ устройству брака...» Но, вѣдь, во-первыхъ, не предпринималъ онъ этихъ шаговъ потому, что совершенно твердо былъ убѣжденъ въ полной безцѣльности ихъ; а, во-вторыхъ, неужели любовь и бракъ такъ ужъ тѣсно связаны другъ съ другомъ, и Елагинъ успокоился бы и вообще всячески разрѣшилъ бы драму своей любви, обвинившись съ Сосновской? Неужели неизвѣстно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсѣмъ обычной любви даже какъ бы избѣгать брака?

Но все это, повторяю, частности. А въ основномъ прокуроръ былъ правъ: аффекта не было.

Онъ говорилъ:

— Врачебная экспертиза пришла къ заключенію, что Елагинъ былъ «скорѣе» въ спокойномъ, чѣмъ въ аффективномъ состояніи; а я утверждаю, что не только

въ спокойномъ, но удивительно спокойномъ. Въ этомъ насъ убѣждаетъ осмотръ прибранной комнаты, гдѣ совершенно преступленіе, и гдѣ Елагинъ оставался еще долго послѣ него. Затѣмъ — показаніе свидѣтеля Ярошенко, видѣвшаго, съ какимъ спокойствіемъ вышелъ Елагинъ изъ квартиры на Староградской и какъ тщательно, не торопясь, заперъ онъ ее на ключъ. И, наконецъ, — поведеніе Елагина у ротмистра Лихарева. Что, на примѣръ, сказала Елагинъ корнету Сѣвскому, который убѣждалъ его «опомниться», вспомнить, не застрѣлилась-ли Сосновская сама? Онъ сказалъ: «Нѣтъ, братъ, я все *отлично* помню!» — и тутъ же описалъ, какъ именно онъ произвелъ выстрѣлъ. Свидѣтеля Будберга «даже неприятно поразилъ Елагинъ — онъ, послѣ своего признанія, хладнокровно пилъ чай». А свидѣтель Фохтъ былъ пораженъ еще болѣе: «Господинъ штабъ-ротмистръ, иронически сказалъ ему Елагинъ, я надѣюсь, что вы сегодня уволите меня отъ ученія. — Это было такъ страшно, говоритъ Фохтъ, что корнетъ Сѣвскій не выдержалъ и зарыдалъ. . .» Правда, была минута, когда зарыдалъ и Елагинъ: это когда ротмистръ вернулся отъ командира полка, къ которому онъ ходилъ за приказаніями на счетъ Елагина, и когда Елагинъ понялъ по лицамъ Лихарева и Фохта, что онъ, въ сущности, больше уже не офицеръ. Вотъ въ это-то время онъ и зарыдалъ, — закончилъ прокуроръ: — только въ это время!

Послѣдняя фраза довольно странна. Кому неизвѣстно, какъ часто происходитъ подобное внезапное пробужденіе отъ столбняка въ несчастіи отъ чего-нибудь совершенно незначительнаго, отъ чего-нибудь случайно попавшагося на глаза и вдругъ напомниша-

го человѣку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужасъ его теперешняго положенія? А, вѣдь, Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное. Вѣдь, онъ какъ бы и родился офицеромъ, — десять поколѣній его предковъ служили. И вотъ, онъ ужъ не офицеръ. . .

Впрочемъ, это тоже только подробности. Главное же то, что «короткаго безумія» дѣйствительно не было. Но тогда что-же было? Прокуроръ призналъ, что «въ этомъ темномъ дѣлѣ все должно быть прежде всего сведено къ обсужденію характеровъ Елагина и Сосновской и къ выясненію ихъ отношеній». И онъ твердо заявилъ:

— Сошлись двѣ личности, ничего общаго между собой не имѣющія. . .

Такъ-ли это? Вотъ въ этомъ-то и весь вопросъ: такъ-ли?

VI.

О Елагинѣ я сказалъ бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возрастъ роковой, время страшное, опредѣляющее человѣка на все его будущее. Обычно переживаетъ человѣкъ въ это время то, что медицински называется зрѣлостью пола, а въ жизни — первой любовью, которая разсматривается почти всегда только поэтически и въ общемъ весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедіями, но совсѣмъ никто не думаетъ о томъ, что какъ разъ въ это время переживаютъ люди нѣчто гораздо болѣе глубокое, сложное, чѣмъ волненія, страданія,

обычно называемыя обожаніемъ милаго существа: переживаютъ, сами того не вѣдая, жуткій расцвѣтъ, мучительное раскрытіе, первую мессу пола. И вотъ, будь я защитникомъ Елагина, я просилъ бы судей обратить вниманіе на его возрастъ именно съ этой точки зрѣнія и еще на то, что передъ ними сидѣлъ человѣкъ совсѣмъ незаурядный въ этомъ смыслѣ. «Молодой гусарь, ошалѣлый прожигатель жизни» — говорилъ прокуроръ, повторяя общее мнѣніе, и въ доказательство правоты своихъ словъ передалъ рассказъ одного свидѣтеля, артиста Лисовскаго: о томъ, какъ Елагинъ пришелъ однажды въ театръ днемъ, когда артисты сходились на репетицію, и какъ, увидавъ его, Сосновская отскочила въ сторону, за спину Лисовскаго, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня отъ него!» Я ее заслонилъ, рассказывалъ Лисовскій, и этотъ гусарикъ, налитый виномъ, вдругъ остановился и ошалѣлъ — стоитъ, разставивъ ноги, и смотритъ, недоумѣвая: куда же это дѣлась Сосновская?

Вотъ именно такъ: ошалѣлый человѣкъ. Но только отъ чего ошалѣлый: ужели отъ «праздной, разнузданной жизни»?

Происходитъ Елагинъ изъ родовитой и богатой семьи, матери (которая была, замѣтьте, натурой весьма экзальтированной) онъ лишился очень рано, отъ отца, человѣкъ суроваго, строгаго, былъ отдѣленъ страхомъ, въ которомъ и росъ, и выросъ. Прокуроръ съ жестокой смѣлостью рисовалъ не только нравственный, но и физическій обликъ Елагина. И онъ сказалъ:

— Таковъ, господа, былъ нашъ герой въ живописномъ гусарскомъ нарядѣ. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашиваетъ: передъ нами

низкорослый и сутулый молодой человекъ съ бѣло-брысыми усиками и крайне неопредѣленнымъ, незначительнымъ выраженіемъ лица, въ своемъ черномъ сюртукѣ весьма мало напоминающій Отелло. Передъ нами личность, по моему, съ рѣзко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый въ однихъ случаяхъ, — какъ, на примѣръ, въ отношеніи къ отцу, — и крайне дерзкій, не считающійся ни съ какими преградами въ другихъ, то есть тогда, когда онъ чувствуетъ себя свободнымъ отъ отцовскаго взгляда и вообще надѣется на безнаказанность. . .

Что-жь, въ этой грубой характеристикѣ было много правды. Но я, слушая ее, во-первыхъ, не понялъ, какъ можно съ легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чѣмъ часто отличаются люди съ рѣзко выраженной наслѣдственностью, а, во-вторыхъ, все-таки видѣлъ въ этой правдѣ только очень небольшую часть правды. Да, росъ Елагинъ въ трепетѣ передъ отцомъ. Но трепетъ не есть трусость, и особенно передъ родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наслѣдства, которое связываетъ его со всѣми его отцами, дѣдами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и въ этомъ я вижу одно изъ доказательствъ незаурядности его натуры: взгляните, сказалъ бы я прокурору, попристальнѣе въ этого рыжеватаго, сутулаго и тонконогаго человека, и вы почти со страхомъ увидите, какъ далеко отъ незначительности это веснушчатое лицо съ маленькими и зеленоватыми (избѣгающими глядѣть на васъ) глазами. И потомъ, обратите вниманіе на его дегенеративную силу: въ день убійства онъ былъ на ученіи, — съ ран-

няго утра, конечно, — и выпилъ за завтракомъ шесть рюмокъ водки, бутылку шампанскаго, двѣ рюмки коньяку и остался при этомъ почти совершенно трезвымъ!

VII.

Въ большомъ противорѣчїи съ общимъ низкимъ мнѣніемъ объ Елагинѣ стояли и показанія многихъ его полковыхъ товарищей. Всѣ они отзывались о немъ самымъ лучшимъ образомъ. Вотъ каково, на примѣръ, было мнѣніе о немъ эскадроннаго командира:

— Вступивъ въ полкъ, Елагинъ замѣчательно хорошо поставилъ себя среди офицеровъ и всегда былъ чрезвычайно добръ, заботливъ, справедливъ къ нижнимъ чинамъ. Характеръ его, по моему, отличался только однимъ: неровностью, которая выражалась, однако, не въ чемъ-нибудь непрїятномъ, а только въ частыхъ и быстрыхъ переходахъ отъ веселости къ меланхолїи, отъ разговорчивости къ молчаливости, отъ увѣренности въ себѣ къ безнадежности на счетъ своихъ достоинствъ и вообще всей своей судьбы. . .

Затѣмъ — мнѣніе ротмистра Лихарева:

— Елагинъ всегда былъ добрымъ и хорошимъ товарищемъ, только со странностями: то бывалъ онъ скромнень и застѣнчиво скрытенъ, то впадалъ какъ бы въ нѣкоторую безшабашность, браваду. . . Послѣ того, какъ онъ пришелъ ко мнѣ съ признаніемъ въ убійствѣ Сосновской, и Сѣвскій съ Кошицемъ поскакали на Староградскую, онъ то страстно плакалъ, то ѣдко и буйно смѣялся, а когда его арестовали и везли въ

заключеніе, съ дикою улыбкою совѣтовался съ нами, у какого портного заказать себѣ штатское платье. . .

Затѣмъ — графа Кошица:

— Елагинъ былъ человекъ, въ общемъ, нрава веселаго и нѣжнаго, нервный, впечатлительный, склонный даже къ восторженности. Особенно дѣйствовали на него театръ и музыка, часто доводившая его до слезъ; да онъ и самъ былъ необыкновенно способенъ къ музыкѣ. . .

Приблизительно то же сказали и всѣ прочіе свидѣтели:

— Человекъ очень увлекающійся, но какъ будто всегда ожидавшій чего-то настоящаго, несбыковеннаго. . .

— На товарищескихъ пирушкахъ чаще всего бывалъ веселъ и какъ-то мило надоедливъ, шампанскаго требовалъ больше всѣхъ и угощалъ имъ кого попало. . . Вступивъ въ связь съ Сосновской, чувства къ которой онъ всегда чрезвычайно старался скрыть отъ всѣхъ очень измѣнился: часто бывалъ задумчивъ, печаленъ, говорилъ, что утверждается въ намѣреніи покончить съ собой. . .

Таковы свѣдѣнія объ Елагинѣ, исходившія отъ лицъ, жившихъ съ нимъ въ наибольшей близости. Откуда же, думалъ я, сидя на судѣ, взялъ прокуроръ столь черныя краски для его портрета? Или у него есть свѣдѣнія какія-нибудь другія? Нѣтъ, у него ихъ нѣтъ. И остается предположить, что къ этимъ чернымъ краскамъ побудили его общія представленія о «золотой молодежи» и то, что онъ узналъ изъ единственнаго имѣвшагося въ распоряженіи суда письма Елагина къ одно-

му своему другу въ Кишиневъ. Тутъ Елагинъ съ большою развязностью говорилъ о своей жизни:

— Дошелъ я, братъ, до какого-то безразличія: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава Богу, а что завтра будетъ, — наплевать, утро вечера мудренѣе. Добился я репутаціи славной: первый пьяница и дуракъ чуть ли не во всемъ городѣ. . .

Такая самооцѣнка какъ-будто связывалась съ краснорѣчіемъ прокурора, говорившаго, что, «во имя животной борьбы за наслажденія, Елагинъ поставилъ женщину, все ему отдавшую, на судъ общества и лишилъ ее не только жизни, но даже послѣдней чести — христіанскаго погребенія. . .» Но связывалась-ли на самомъ дѣлѣ? Нѣтъ, прокуроръ взялъ изъ этого письма только нѣсколько строкъ. Полностью-же оно было таково:

— Дорогой Сергѣй. Письмо твое получилъ и хотя поздно отвѣчаю, но что-жъ дѣлать? Навѣрное ты, читая мое письмо, будешь думать: «Вотъ каракули, точно муха, попавшая въ чернила, напознала!» Ну, что-жъ, почеркъ, какъ говорятъ, если не зеркало, то до известной степени выраженіе характера. Я все тотъ-же лоботрясъ, какъ и былъ, а, если хочешь, даже хуже, такъ какъ два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, братъ, кое-что, чего и самъ Соломонъ премудрый не выразить! А потому не удивляйся, если въ одинъ прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнулъ. Я дошелъ, братъ, до какого-то безразличія: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава Богу, а что завтра будетъ, наплевать, утро вечера мудренѣе. Добился я репутаціи славной: первый пьяница и дуракъ чуть-ли не во всемъ городѣ. А, вмѣстѣ съ тѣмъ,

повѣришь-ли? Чувствую иногда въ душѣ такую силу и муку и влеченіе ко всему хорошему, высокому, вообще, чортъ его знаетъ, къ чему, что грудь ломить. Ты скажешь, что это еще юность: такъ отчего-же мои сверстники ничего подобнаго не ощущаютъ? Я сталъ страшно нервный: иногда зимой, ночью, въ метель, въ холодъ, вскочивъ съ постели, летаю верхомъ по улицамъ, изумляя даже городовыхъ, которые привыкли ничему не удивляться — и замѣть, вполне трезвый и не съ перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотивъ, который какъ-будто гдѣ-то слышалъ, а его все нѣтъ и нѣтъ! Что-жъ, тебѣ-то признаюсь: я влюбился и совсѣмъ, совсѣмъ не въ такую, какими полонъ весь городъ. . . Впрочемъ, довольно объ этомъ. Пиши мнѣ, пожалуйста, адресъ ты мой знаешь. Помнишь, какъ ты говорилъ? «Россія, корнету Елагину. . .»

Поразительно: какъ можно было послѣ прочтенія хотя бы одного этого письма, говорить, что «сошлись личности, ничего общаго между собой не имѣющія»!

VIII.

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, — ей было двадцать восемь лѣтъ. Отецъ ея былъ незначительный чиновникъ, покончившій жизнь самоубійствомъ, когда ей было всего три года. Мать долго вдовѣла, потомъ опять вышла замужъ и опять за мелкаго чиновника и опять скоро стала вдовой. Какъ видите, семья Сосновской была довольно средняго порядка, — откуда же всѣ тѣ странныя ду-

шевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть къ сценѣ, которая, какъ мы знаемъ, очень рано обнаружилась въ ней? Думаю, что ужъ, конечно, не отъ воспитанія въ семьѣ и въ томъ частномъ пансіонѣ, гдѣ она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и въ свободное время много читала. И, читая, порою выписывала изъ книгъ мысли и изреченія, ей нравившіяся, — конечно, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ бываетъ, такъ или наче связывая ихъ съ собою, — и вообще дѣлала нѣкоторыя замѣтки, вела нѣчто вродѣ дневника, если только можно назвать дневникомъ клочки бумаги, до которыхъ она не дотрогивалась иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи. Что же именно выписывала она?

— «Не родиться — первое счастье, второе же поскорѣе возвратиться къ небытію». Чудная мысль!

— Свѣтъ скученъ, смертельно скученъ, а душа моя стремится къ чему-то необыкновенному. . .

— «Люди понимаютъ только тѣ страданія, отъ которыхъ умираютъ». Мюссе.

— Нѣтъ, я никогда не выйду замужъ. Клянусь въ томъ Богомъ и смертью. . .

— Только любовь или смерть. — но гдѣ же во вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нѣтъ, не можетъ быть! А какъ же умереть, когда я, какъ бѣсноватая, люблю жизнь?

— Страшнѣе, привлекательнѣй и загадочнѣй любви нѣтъ ничего ни на небѣ, ни на землѣ. . .

— Мать говоритъ, напрімѣръ, чтобы я вышла изъ-за денегъ. Я, я, изъ-за денегъ!

— Весь міръ смотритъ на меня милліонами плотоядныхъ глазъ, какъ когда я бывала маленькая въ звѣринцѣ. . .

— «Быть человекомъ не стоитъ. Ангеломъ — тоже. И ангелы возроптали и возстали на Бога. Стоитъ быть Богомъ или ничтожествомъ». Красинскій.

— «Кто можетъ похвалиться, что проникъ въ ея душу когда всѣ усилія ея жизни направлены къ сокрытію глубины ея души?» Мюссе.

Кончивъ курсъ въ пансіонѣ, Сосновская тотчасъ же заявила матери, что она рѣшила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотѣла о томъ, чтобы ея дочь стала актрисой. Однако, дочь была совсѣмъ не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успѣла внушить матери, что ея жизнь, жизнь Маріи Сосновской, никакъ не можетъ быть обыкновенной и безславной.

Восемнадцати лѣтъ она уѣхала во Львовъ и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала безъ всякихъ затрудненій, и вскорѣ выдѣлилась на ней. Вскорѣ она приобрѣла извѣстность и среди публики и въ театральномъ мірѣ настолько серьезную, что на третій годъ службы получила приглашеніе въ нашъ городъ. Однако и во Львовѣ заносила она въ свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

— «Объ ней всѣ говорятъ, надъ ней плачутъ и смѣются, но кто же знаетъ ее?» Мюссе.

— Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желаніе. . .

— Когда я выйду куда-нибудь за городъ, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходитъ. Я хочу кричать, пѣть, декламировать, плакать. . . полюбить и умереть. . .

— Я изберу себѣ прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной матеріей. Музыка должна играть за стѣной, а я лягу въ скромномъ бѣломъ платьѣ и окружу себя безчисленными цвѣтами, запахъ которыхъ и убьетъ меня. О, какъ это будетъ дивно!

И дальше:

— Всѣ, всѣ требуютъ моего тѣла, а не души. . .

— Если бы я была богата, я объѣхала бы весь свѣтъ и любила бы по всему земному шару. . .

— «Знаетъ-ли человѣкъ, чего онъ хочетъ? Увѣрять ли въ томъ, что онъ думаетъ?» Красинскій.

И, наконецъ:

— Негодяй!

Кто былъ этотъ негодяй, сдѣлавшій, конечно, то, о чемъ такъ не трудно догадаться? Извѣстно только то, что онъ былъ и не могъ не быть. «Уже во Львовѣ, сказалъ свидѣтель Заузе, львовскій сослуживецъ Сосновской, она не одѣвалась, а скорѣе раздѣвалась для сцены, принимала же у себя всѣхъ своихъ знакомыхъ и поклонниковъ въ прозрачномъ пенюарѣ, съ голыми ногами. Красота ихъ повергала всѣхъ и особенно новичковъ въ восторженное изумленіе. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственныя» — и показывала ноги выше колѣнъ. Въ то же время она не переставала твердить мнѣ, — часто со слезами, — что нѣтъ

никого достойнаго ея любви и что ея единственная надежда — смерть».

И вотъ явился «негодяй», съ которымъ она ѣздила въ Константинополь, въ Венецію, въ Парижъ и у котораго она бывала въ Краковѣ, въ Берлинѣ. Это былъ какой-то галиційскій помѣщикъ, человекъ чрезвычайно богатый. О немъ говорилъ свидѣтель Вольскій, знавшій Сосновскую съ дѣтства:

— Я всегда считалъ Сосновскую женщиной очень низкаго нравственнаго уровня. Она не умѣла держать себя, какъ надо артисткѣ и обывательницѣ нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчинъ. Цинично, какъ она еще почти дѣвочкой продала себя этому старому кабану галиційскому!

Именно объ этомъ «кабанѣ» рассказывала Сосновская Елагину въ своей предсмертной бесѣдѣ. Тутъ она, роняя слова, жаловалась ему:

— Я росла одиноко, за мной никто не смотрѣлъ. . . Я была въ своей семьѣ, да и во всемъ мѣрѣ, всѣмъ чужая. . . Одна женщина, — да будетъ проклято ея потомство! — развращала меня, довѣрчивую, чистую дѣвочку. . . А во Львовѣ я искренно полюбила одного человека, какъ отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о немъ безъ ужаса! И онъ приучилъ меня къ гашишу, къ вину, онъ возилъ меня въ Константинополь, гдѣ у него былъ цѣлый гаремъ, онъ лежалъ въ этомъ гаремѣ, смотря на своихъ голыхъ рабынь, и заставлялъ раздѣваться и меня, подлый, низкій человекъ. . .

IX.

У насъ, въ нашемъ городѣ, Сосновская скоро стала притчей во языцѣхъ.

— Еще во Львовѣ, говорилъ свидѣтель Мѣшковъ, многимъ предлагала она умереть за одну ночь съ ней и все твердила, что ищетъ сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цѣль — жить и пользоваться жизнью. Купоръ долженъ пробовать, всѣ вина и ни однимъ виномъ не упиваться. Такъ же должна поступать и женщина съ мужчинами». И такъ она и поступала, говорилъ Мѣшковъ. Совсѣмъ не увѣренъ, всѣ ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромнымъ количествомъ ихъ. Впрочемъ, можетъ быть, и это дѣлала она главнымъ образомъ для того, чтобы создавать вокругъ себя шумъ, приобрѣтать себѣ клакеровъ для театра. «Деньги, говорила она, пустяки. Я жадна, порою скупа, какъ послѣдняя мѣщанка, но какъ то не думаю о деньгахъ. Главное — слава, все остальное будетъ». И о смерти она, по моему, постоянно толковала тоже только съ этой цѣлью: заставить говорить о себѣ...

То же самое, что и во Львовѣ, продолжалось и въ нашемъ городѣ. И почти такія же писались замѣтки:

— Боже, какая тоска, какое томленіе! Хоть бы землетрясеніе, затменіе случилось!

— Какъ то вечеромъ я была на кладбищѣ: тамъ было такъ прекрасно! Мнѣ казалось... но нѣтъ, я не умѣю описать этого чувства. Мнѣ хотѣлось остаться на всю ночь, декламировать надъ могилами и умереть отъ

изнеможенія. На другой день я играла такъ хорошо, какъ никогда. . .

И опять:

— Вчера я была на кладбищѣ въ десять часовъ вечера. Какое тяжелое зрѣлище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мнѣ казалось, что я окружена тысячами мертвецовъ. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мнѣ было очень хорошо. . .

А, познакомившись съ Елагинымъ и узнавъ отъ него однажды, что въ полку умеръ вахмистръ, она потребовала, чтобы Елагинъ свезъ ее въ часовню, гдѣ лежалъ покойникъ, и записала, что видъ часовни и покойника при свѣтѣ луны произвелъ на нее «потрясающе-восторженное впечатлѣніе».

Жажда славы, людского вниманія перешла у нея въ это время просто въ изступленіе. Да, она была очень хороша собой. Красота ея была въ общемъ не оригинальна и все-таки было въ ней какое-то особое, рѣдкое, не обычное очарованіе, какая-то смѣсь простодушія и невинности съ звѣринымъ лукавствомъ, а кромѣ того, смѣсь постоянной игры съ искренностью: посмотрите на ея портреты, обратите вниманіе на взглядъ, ей особенно присущій, — взглядъ всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытыхъ губкахъ, взглядъ грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обѣщающій, какъ бы соглашающійся на что-то тайное, порочное. И она умѣла пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонниковъ не только тѣмъ, что на сценѣ она особенно умѣла расцвѣтатъ всѣми своими прелестями, звукомъ голоса и живостью движеній, смѣхомъ или слезами, но и тѣмъ, что чаще

всего выступала въ роляхъ, гдѣ она могла показать свое тѣло. А дома она носила соблазнительныя восточныя и греческія одежды, въ которыхъ и принимала своихъ многочисленныхъ гостей, одну изъ своихъ комнатъ отвела, какъ она выражалась, спеціально для самоубійства, — тамъ были и револьверы, и кинжалы, и сабли въ видѣ серповъ и винтовъ, и склянки со всевозможными ядами, — а постояннымъ и любимѣйшимъ предметомъ разговоровъ сдѣлала смерть. Но мало того: часто, бесѣдуя о всяческихъ способахъ лишить себя жизни, она вдругъ хватала со стѣны заряженный револьверъ, взводила курокъ, приставляла дуло къ своему виску и говорила: «Скорѣе, поцѣлуйте меня или я сію минуту выстрѣлю!», — а не то брала въ ротъ пилюлю со стрихниномъ и заявляла, что, если гость тотчасъ же не упадетъ на колѣни и не поцѣлуетъ ея босую ногу, она проглотитъ эту пилюлю. И все это она дѣлала и говорила такъ, что гость блѣднѣлъ отъ страха и уходилъ вдвойнѣ очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно тѣ, всѣхъ волнующіе, слухи, которыхъ она такъ хотѣла. . .

— Вообще она сама собой почти никогда не бывала, говорилъ на судѣ свидѣтель Залѣвскій, очень близко и долго ее знавшій. Играть, дразнить — это было ея постоянное занятіе. Довести человѣка до бѣшенства нѣжными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустнымъ вздохомъ беззащитнаго ребенка — на это она была великая мастерица. Такъ вела она себя и съ Елагинымъ. Она то распяляла его, то обдавала холодной водой. . . Хотѣла-ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было въ ея натурѣ очень

много жизнерадостности и веселости. Помню, какъ однажды прислалъ ей Елагинъ въ подарокъ шкуру бѣлаго медвѣдя. У нея въ это время было много гостей. А она всѣхъ забыла, — въ такой восторгъ привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого вниманія, стала кувыркаться на ней черезъ голову, стала выкидывать такія штуки, что позавидовалъ бы любой акробатъ. . . Очаровательная была женщина!

Впрочемъ, тотъ же Залѣвскій рассказываетъ о томъ, что она страдала припадками тоски, отчаянія. Врачъ Сѣрошевскій, знавшій ее десять лѣтъ и лѣчившій ее еще до ея отъѣзда во Львовъ, — у нея начиналась тогда чахотка, — тоже показалъ, что въ послѣднее время она мучилась сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, потерей памяти и галлюцинаціями, такъ что онъ боялся за ея умственныя способности. Отъ этого-же разстройства лечилъ ее и врачъ Шумахеръ, котораго она все увѣряла, что не умретъ своей смертью (и у котораго она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанныхъ и, что всего удивительнѣй, прекрасно понятыхъ, какъ оказалось потомъ»). А врачъ Недзельскій далъ такое показаніе:

— Странная была женщина! Когда у нея бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось — вдругъ ни съ того ни съ сего умолкнетъ, закатитъ глаза, уронитъ голову на столъ. . . начнетъ бросать, бить объ полъ стаканы, рюмки. . . Въ этихъ случаяхъ всегда надо было поспѣшить попросить ее: ну, еще, еще, — и она тотчасъ-же прекращала это занятіе.

И вотъ съ этой-то женщиной и встрѣтился корнетъ Александръ Михайловичъ Елагинъ.

Какъ произошла эта встрѣча? Какъ родилась между ними близость и каковы были ихъ чувства другъ къ другу, ихъ отношенія? Объ этомъ дважды разсказалъ самъ Елагинъ: первый разъ, кратко и отрывочно, черезъ нѣсколько часовъ послѣ убійства, — слѣдовательно; второй разъ — на допросахъ, происходившихъ три недѣли спустя послѣ перваго допроса.

— Да говорилъ онъ, я виновенъ въ лишеніи жизни Сосновской, *но по ея волѣ*. . .

— Я познакомился съ ней полтора года тому назадъ, въ кассѣ театра, черезъ поручика Будберга. Я горячо полюбилъ ее и думалъ, что и она раздѣляетъ мои чувства. Но я не всегда бывалъ увѣренъ въ этомъ. Порой мнѣ казалось, что она любитъ меня даже больше, чѣмъ я ее, а порой — наоборотъ. Кромѣ того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой ревностью. Но въ концѣ концовъ все-таки не это составляло наше трагическое положеніе, а что-то другое, чего я не умѣю выразить. . . Во всякомъ случаѣ, клянусь, что я убилъ ее не изъ-за ревности.

— Я, говорю, познакомился съ ней въ февралѣ прошлаго года, въ театрѣ, возлѣ кассы. Я сдѣлалъ ей визитъ, но до октября я бывалъ у нея не чаще двухъ разъ въ мѣсяцъ и то всегда днемъ. Въ октябрѣ я признался ей въ своей любви, и она позволила мнѣ поцѣловать ее. Черезъ недѣлю послѣ того мы съ ней и съ моимъ товарищемъ Волошинымъ ѣздили ужинать въ загородный ресторанъ, возвращались же оттуда только вдвоемъ и, хотя она была весела, ласкова и слегка опья-

нена, я чувствовалъ такую робость передъ ней, что боялся поцѣловать ея руку. Затѣмъ она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетскія ночи», сказала: а вы рѣшились бы отдать жизнь за одну ночь съ любимой женщиной? И, когда я поспѣшилъ отвѣтить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любилъ ее и ясно видѣлъ и чувствовалъ, что это роковая для меня любовь. По мѣрѣ того, какъ мы сближались, я смѣлѣлъ, началъ говорить ей о своей любви все чаще, говорилъ, что чувствую, что гибну. . . ужъ хотя бы по одному тому, что отецъ никогда не позволитъ мнѣ жениться на ней, что жить ей со мной безъ брака невозможно, какъ артисткѣ, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь съ русскимъ офицеромъ. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, отъ отвѣта же на мои признанія, на мой безмолвный вопросъ, любить-ли она меня, уклонялась, давая какъ будто мнѣ нѣкоторую надежду этими жалобами и ихъ интимностью. . .

— Потомъ, съ января нынѣшняго года, я сталъ бывать у нея каждый день. Я посылалъ ей букеты въ театръ, посылалъ цвѣты на квартиру, дѣлалъ подарки. . . Подарилъ двѣ мандолины, шкуру бѣлаго медвѣдя, перстень и браслетъ съ брилліантами, рѣшилъ подарить брошку въ видѣ черепа. Она обожала эмблемы смерти и не разъ говорила мнѣ, что желала бы имѣть отъ меня именно такую брошку, съ надписью по-французски: «Quand même pour toujours!»

— 26 марта этого года я получилъ отъ нея приглашеніе на ужинъ. Послѣ ужина она впервые отдалась мнѣ. . . въ комнатѣ, которую она называла японской.

Въ этой же коматѣ происходили и наши дальнѣйшія свиданія; служанку она отсылала послѣ ужина спать. А потомъ она дала мнѣ ключъ отъ своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лѣстницу. . . Въ память 26 марта мы заказали себѣ обручальныя кольца, на внутренней сторонѣ которыхъ были вырѣзаны, по ея желанію, наши инициалы и дата нашей близости. . .

— Въ одну изъ нашихъ поѣздокъ за городъ мы подошли въ деревнѣ къ кресту возлѣ костела и я поклялся ей передъ этимъ крестомъ въ своей вѣчной любви, сказалъ, что она моя жена передъ Богомъ и что я до могилы не измѣню ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потомъ сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. *Quand même pour toujours.*»

— Въ началѣ мая, когда однажды я ужиналъ у нея, она достала опій въ порошокъ и сказала: «Какъ легко умереть! Стоитъ только подсыпать немного и готово!» И, высыпавъ порошокъ въ бокаль съ шампанскимъ, поднесла бокаль ко рту. Я вырвалъ его у нея изъ рукъ, выплеснулъ вино въ каминъ, а бокаль разбилъ о шпору. На другой день она сказала мнѣ: «Вмѣсто трагедіи вчера вышла комедія!» И прибавила: «Что-жъ мнѣ дѣлать, сама я не рѣшаюсь, ты тоже не можешь, не смѣешь. . . Какой позоръ!»

— И послѣ этого мы стали видѣться рѣже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерамъ больше не можетъ. Почему? Я сходилъ съ ума, мучился ужасно. Но кромѣ того она измѣнилась ко мнѣ, стала холодна и насмѣшлива, принимала меня иногда такъ, точно мы были едва знакомы и все издѣвалась надъ отсутствіемъ у меня характера. . . И вдругъ опять все из-

мѣнилось. Она стала заѣзжать за мной для прогулокъ, стала заигрывать со мной, — можетъ быть, потому, что и я началъ усваивать себѣ холодную сдержанность въ обращеніи съ нею. . . Наконецъ, она сказала, чтобы я нанялъ отдѣльную квартиру для нашихъ свиданій, но такую, чтобы она была на глухой улицѣ, въ какомъ-нибудь сумрачномъ, старомъ домѣ, была бы совершенно темной и отдѣлана такъ, какъ она мнѣ прикажетъ. . . Вы знаете, какъ именно была убрана эта квартира. . .

— И вотъ, 16 іюня я зашелъ къ ней въ четыре часа и сказалъ, что квартира готова, и передалъ ей одинъ изъ ключей. Она улыбнулась и, возвращая мнѣ ключъ, отвѣтила: «Поговоримъ объ этомъ послѣ». Въ то время раздался звонокъ, пришелъ нѣкто Шкляревичъ. Я поспѣшно спряталъ ключъ въ карманъ и заговорилъ о пустякахъ. Когда же мы уходили вмѣстѣ со Шкляревичемъ, она въ прихожей громко сказала ему: «приходите въ понедѣльникъ» — мнѣ же шепнула: «приходи завтра, въ четыре» — и шепнула такъ, что у меня закружилась голова. . .

— На другой день я былъ у нея ровно въ четыре часа. Каково же было мое удивленіе, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мнѣ, что Сосновская не можетъ меня принять, и передала мнѣ ея письмо! Она писала что чувствуетъ себя нездоровой, что она ѣдетъ къ матери на дачу, что «теперь ужъ поздно». Внѣ себя, я зашелъ въ первую попавшуюся кондитерскую и написалъ ей ужасное письмо, прося объяснить, что значитъ слово поздно, и отправилъ это письмо съ посыльнымъ. Но посыльный принесъ мнѣ мое письмо обратно — ея не оказалось дома. Тогда я рѣшилъ, что она хочетъ окончательно порвать со мной, и, возвратясь до-

мой, написалъ ей новое письмо, рѣзко упрекая ее за всю ея игру со мной и прося возвратить мнѣ обручальное кольцо, которое для нея, вѣроятно, только шутка, а для меня самое дорогое въ жизни, то, что должно лечь со мной въ могилу: я хотѣлъ этимъ сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мнѣ остается только смерть. Вмѣстѣ съ этимъ письмомъ я возвратилъ ей ея протретъ, всѣ ея письма и вещи, хранившіяся у меня: перчатки, шпильки, шляпку. . . Деньщикъ вернулся и сказалъ, что ея нѣтъ дома, и что онъ оставилъ письмо и посылку у дворника. . .

— Вечеромъ я поѣхалъ въ циркъ, встрѣтилъ тамъ Шкляревича, человѣка мнѣ мало знакомаго, и, боясь быть одинъ, пилъ съ нимъ шампанское. Вдругъ Шкляревичъ сказалъ: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Повѣрьте мнѣ, что она не стоитъ того. Мы всѣ прошли черезъ это, она всѣхъ насъ водила за носъ». . . Мнѣ хотѣлось выхватить шашку и разрубить ему голову, но я былъ въ такомъ состояніи, что не только не сдѣлалъ ничего подобнаго и не прервалъ этого разговора, а даже былъ втайнѣ радъ ему, радъ возможности хоть въ комъ-нибудь найти сочувствіе. И не знаю, что со мной случилось: я, конечно, ни слова не проронилъ въ отвѣтъ ему, ни слова не сказалъ о Сосновской, но повезъ его на Староградскую и показалъ ему квартиру, которую я съ такой любовью выбиралъ для нашихъ свиданій. Мнѣ было такъ горько, такъ стыдно, что я такъ одураченъ съ этой квартирой. . .

— Оттуда я погналъ извозчика въ ресторанъ Невяровскаго; шелъ небольшой дождь, извозчикъ летѣлъ, и мнѣ даже отъ этого дожда и отъ огней впереди бы-

ло больно и страшно. Въ часъ ночи я вернулся съ Шкляревичемъ изъ ресторана домой и уже сталъ раздѣваться, какъ вдругъ деньщикъ подаль мнѣ записку: она ждала меня на улицѣ, просила немедленно спуститься. Она пріѣхала съ горничной въ каретѣ и сказала мнѣ, что она такъ испугалась за меня, что не могла даже ѣхать одна, взяла горничную. Я приказаль деньщику проводить горничную домой, а самъ сѣлъ къ ней въ карету, и мы поѣхали на Староградскую. Дорогой я упрекаль ее, говорилъ, что она играетъ со мной. Она молчала и, глядя передъ собой, иногда вытирала слезы. Впрочемъ, она казалась спокойной. И такъ какъ ея состояніе обыкновенное всегда передавалось мнѣ, то и я сталъ успокаиваться. Когда мы пріѣхали, она совсѣмъ повеселѣла, — квартира ей очень понравилась. Я взяль ея руку, просиль прощенія за всѣ свои упреки, просиль возвратить ея портретъ, то есть тотъ, который я въ раздраженіи отослаль ей. У насъ часто бывали ссоры, и я всегда въ концѣ концовъ чувствовалъ себя виноватымъ и всегда просиль прощенія. Въ три часа ночи я повезъ ее домой. Дорогой нашъ разговоръ опять обострился. Она сидѣла, смотря передъ собой, я не видѣль ея лица, чувствовалъ только запахъ ея духовъ и ледяной, злой звукъ голоса. «Ты не мужчина, говорила она, у тебя нѣтъ никакого характера, я могу, когда угодно, и взбѣсить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрѣзала на мелкіе кусочки!» Тогда я крикнуль: «Въ такомъ случаѣ возьмите назадъ ваше кольцо!» — и насильно надѣль его ей на палець. Она повернулась ко мнѣ и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я отвѣтилъ, что не приду ни въ какомъ случаѣ. Она неловко, робко

стала меня просить, говорила: «Нѣтъ, ты придешь, придешь. . . на Староградскую. . .» И потомъ рѣшительно прибавила: «Нѣтъ, я умоляю тебя придти, я скоро уѣду за границу, я хочу видѣть тебя въ послѣдній разъ, главное, мнѣ нужно тебѣ сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь — ты говоришь, что ты меня любишь, что безъ меня жить не можешь и застрѣлишься, а не хочешь меня видѣть въ послѣдній разъ. . .» Тогда я сказалъ, стараясь быть сдержаннымъ, что, если такъ, то я завтра сообщу ей, въ которомъ часу буду свободенъ. Когда мы разстались у ея подъѣзда, подъ дождемъ, у меня сердце разрывалось отъ жалости и любви къ ней. Вернувшись домой, я съ удивленіемъ и отвращеніемъ засталъ у себя спящаго Шкляревича. . .

— Утромъ въ понедѣльникъ, 18 іюня, я послалъ ей записку, что я свободенъ съ двѣнадцати часовъ дня. Она отвѣтила: «Въ шесть, на Староградской. . .»

ХІ.

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ея кухарка, Ванда Линевицъ, показали, что въ субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себѣ челку, бросила въ разсѣянности спичку на подолъ своего легкаго пенюара, и пенюаръ вспыхнулъ, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его съ себя, — вообще такъ испугалась, что слегла въ постель, послала за докторомъ, а потомъ все твердила:

— Вотъ посмотрите, это къ большой бѣдѣ. . .

Милая, несчастная женщина! Эта исторія съ пенюаромъ и съ ея дѣтскимъ ужасомъ волнуетъ и трогаетъ меня необыкновенно. Этотъ пустякъ какъ то удивительно связываетъ и освѣщаетъ для меня все то отрывочное и противорѣчивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и въ обществѣ и на судѣ со времени ея гибели, а главное, удивительно возбуждаетъ во мнѣ живое ощущеніе подлинной Сосновской.

Вообще еще разъ скажу: изумительно убожество человѣческихъ сужденій! Всѣ какъ будто условились не говорить ничего, кромѣ пошлостей. Что-жъ, молъ, тутъ мудрить: онъ — гусаръ, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она актриса, запутавшаяся въ своей безалаберной и безнравственной жизни. . .

— Отдѣльные кабинеты, вино, кокетки, дебошъ, — говорили про него. — Бряцаніе сабли заглушало въ немъ всѣ высшія чувства. . .

Высшія чувства, вино! А что такое вино и особенно для такой природы, какъ Елагинъ? «Чувствую иногда такую муку и влеченіе ко всему хорошему, высокому, вообще, чортъ его знаетъ, къ чему, что грудь ломить... Хочу схватить какой то неуловимый мотивъ, который какъ будто гдѣ-то слышалъ, но его все нѣтъ и нѣтъ. . .» А вотъ во хмелю-то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напѣвъ звучитъ явственнѣе, ближе. . .

— Она не любила его, — говорили про нее. — Она только боялась его, — вѣдь онъ постоянно грозилъ ей, что убьетъ себя, то есть не только отяготитъ ея душу своей смертью, но и сдѣлаетъ ее героиней большого скандала. Есть свидѣтельства, что она испытывала къ нему «даже нѣкоторое отвращеніе». Она все-таки при-

надлежала ему? Но развѣ это мѣняетъ дѣло? Мало ли кому она принадлежала! Однако Елагинъ захотѣлъ превратить въ драму одну изъ тѣхъ многочисленныхъ любовныхъ комедій, которыя она любила играть. . .

И еще:

— Она ужаснулась той страшной, безмѣрной ревности, которую онъ началъ проявлять все болѣе и болѣе. Разъ, при немъ, былъ у нея въ гостяхъ артистъ Стракунъ. Онъ сидѣлъ сперва спокойно, только блѣднѣлъ отъ ревности. И вдругъ всталъ и быстро вышелъ въ сосѣдную комнату. Она кинулась за нимъ вслѣдъ и, увидѣвъ въ его рукахъ револьверъ, упала передъ нимъ на колѣни, умоляя его сжалиться надъ собой и надъ ней. И такихъ сценъ разыгрывалось, вѣроятно, не мало. Не понятно ли послѣ этого, что она наконецъ рѣшилась избавиться отъ него, отправиться въ заграничную поѣздку, къ которой она была уже совсѣмъ готова накануне своей смерти? Онъ принесъ ей ключъ отъ квартиры на Староградской, отъ квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затѣмъ, чтобы имѣть предлогъ не принимать его у себя до отъѣзда. Она этого ключа не взяла. Онъ сталъ ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно, — то есть, теперь мнѣ не къ чему брать его, я уѣзжаю. Но онъ закатилъ ей такое письмо, что, получивъ его, она ночью поскакала къ нему, внѣ себя отъ страха, что можетъ застать его уже мертвымъ. . .

Пусть все это такъ (хотя всѣ эти разсужденія совершенно противорѣчатъ исповѣди Елагина). Но почему же все таки Елагинъ такъ «страшно», «безмѣрно» ревновалъ и захотѣлъ превратить комедию въ драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрѣ-

лилъ онъ ее въ одинъ изъ припадковъ ревности? Отчего «борьбы между убійцей и его жертвой не было»? И затѣмъ: «Она чувствовала къ нему порой даже нѣкоторое отвращеніе. . . Она при постороннихъ иногда издѣвалась надъ нимъ, давала ему обидныя прозвища, называла его, напримѣръ, кривоногимъ щенкомъ. . .» Но вѣдь еще въ ея львовскихъ замѣткахъ есть запись про отвращеніе къ кому-то: «Такъ онъ еще любитъ меня! А я? Что чувствую я къ нему? И любовь и отвращеніе!» Она оскорбляла Елагина? Да, однажды, поссорившись съ нимъ, — у нихъ это бывало весьма часто, — она позвала горничную и, бросивъ свое обручальное кольцо на полъ, крикнула: «Возьми эту гадость себѣ!» Но что она сдѣлала передъ этимъ? Передъ этимъ она выбѣжала въ кухню и сказала:

— Я сейчасъ позову тебя, брошу вотъ это кольцо на полъ и скажу, чтобы ты взяла его себѣ. Но помни — это будетъ только комедія, ты должна нынче же возвратитъ мнѣ его, потому что этимъ кольцомъ я съ нимъ, съ этимъ дуракомъ, обручилась, и оно для меня дороже всего на свѣтѣ. . .

Ее совѣмъ недаромъ называли женщиной «легкаго поведенія». Она всецѣло принадлежала къ натурамъ съ очень рѣзко выраженнымъ и неутолненнымъ, неудовлетвореннымъ поломъ, который и не можетъ быть утолненъ. Вслѣдствіе чего? Но развѣ я знаю, вслѣдствіе чего. И замѣтьте, что всегда происходитъ: мужчины того страшно сложнаго типа, который есть (въ той или иной мѣрѣ) типъ атавистическій, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношенію къ женщинѣ, но и вообще во всемъ своемъ міроощущеніи, всѣми силами своей души и тѣла тянутся

всегда именно къ такимъ женщинамъ. Почему? Въ силу своего низкаго вкуса, въ силу своей развращенности или просто въ силу доступности такихъ женщинъ? Конечно, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Нѣтъ хотя бы уже потому, что, вѣдь, такіе мужчины очень хорошо и чувствуютъ, и видятъ, настолько всегда мучительна, порою даже гибельна связь, близость съ такими женщинами. Они это чувствуютъ, видятъ, знаютъ, а все-таки тянутся больше всего къ нимъ, именно къ такимъ женщинамъ, — неудержимо тянутся къ своей мукѣ и даже гибели. Почему?

— Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертныя записочки, внушая себѣ, будто и впрямь насталь ея послѣдній часъ. И ни чуть не убѣждаютъ въ противномъ никакіе ея дневники, — кстати сказать, весьма банальные и наивныя, — и никакія посвященія кладбищъ. . .

Наивность ея дневниковъ и театральность прогулокъ на кладбища никто не отрицаетъ, равно какъ и того, что она любила намекать на свое сходство съ Маріей Башкирцевой, съ Маріей Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тотъ, а не другой родъ дневника и хотѣла быть въ сродствѣ именно съ такими женщинами? Все было у нея: красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонниковъ и всѣмъ этимъ она пользовалась со страстью и упоеніемъ. И однако жизнь ея была сплошнымъ томленіемъ, непрестанной жаждой уйти прочь отъ постылаго земнаго міра, гдѣ все всегда не то и не то. Въ силу чего? Въ силу того, что она все это наиграла себѣ. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь

обычно среди женщинъ, посвятившихъ себя, какъ онѣ выражаются, искусству? Но отчего-же это столь обычно? Отчего?

XII.

Утромъ въ воскресенье настольный колокольчикъ зазвенѣлъ изъ ея спальни въ восьмомъ часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновеннаго. Горничная внесла подносъ съ чашкой шоколаду и раздвинула занавѣски. Она сидѣла на постели и, по своему обыкновенію, исподлобья, съ полукрытыми губками, задумчиво и разсѣяннo, слѣдила за ней. Потомъ сказала:

— А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же послѣ доктора. Ой, Матерь Божія, какъ я испугалась! А только онѣ пріѣхалъ, мнѣ стало такъ хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колѣни на постели и цѣлый часъ молилась. . . Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть. . . Все лицо закрыли бы ватой. . .

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидѣла, что-то думая. Потомъ выпила шоколадъ и, принявъ ванну, въ купальномъ халатикѣ и съ распущенными волосами, написала за своимъ маленькимъ письменнымъ столикомъ нѣсколько писемъ на бумагѣ въ траурной рамкѣ: она уже давно заказала себѣ такую бумагу. Одѣвшись и позавтракавъ, она уѣхала: была на дачѣ у матери, а вернулась только въ двѣнадцатомъ

часу ночи съ актеромъ Стракуномъ, который «всегда былъ у нея свой человѣкъ».

— Они пріѣхали оба веселые, — рассказывала горничная. — Встрѣтивъ ихъ въ прихожей, я сейчасъ же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которыя въ ея отсутствіе прислалъ Елагинъ. Она шепнула мнѣ про вещи: «Спрячь скорѣе, чтобы не видалъ Стракунъ!» — потомъ поспѣшно вскрыла письмо и сейчасъ же поблѣднѣла, растерялась и закричала, уже не обращая вниманія на то, что Стракунъ сидѣлъ въ гостиной: «Ради Бога, бѣги однимъ духомъ за каретой!» — Я сбѣгала за каретой и застала ее уже на подъѣздѣ. Мы скакали во весь опоръ, и дорогой она все крестилась и повторяла. «Ой, Матерь Божія, только бы застать его въ живыхъ!»

Въ понедѣльникъ она съ утра уѣхала на рѣку, въ купальни. Обѣдали у нея въ этотъ день Стракунъ и англичанка (которая вообще приходила къ ней почти каждый день давать уроки англійскаго языка и почти никогда не давала). Послѣ обѣда англичанка ушла, а Стракунъ оставался еще часа полтора: курилъ, лежа на диванѣ, положивъ голову на колѣни хозяйки, которая «была въ одномъ капотѣ и въ японскихъ туфелькахъ на босу ногу». Наконецъ Стракунъ ушелъ, и она, прощаясь съ нимъ, просила его придти «нынче-же въ десять часовъ вечера».

— Не часто ли будетъ? — сказала Стракунъ, смѣясь и отыскивая въ прихожей палку.

— Ой, нѣтъ, пожалуйста! — сказала она. — А если меня не будетъ, ты ужъ, Люся, не сердись. . .

А затѣмъ долго жгла въ каминѣ какія-то письма и бумаги. Она напѣвала, шутила съ горничной:

— Все теперь сожгу, разъ сама не сгорѣла! А хорошо, кабы сгорѣла! Только ужъ вся, до гла. . .

Потомъ сказала:

— Скажи Вандѣ, чтобы ужинъ былъ къ десяти вечера. А сейчасъ я уѣзжаю. . .

Она уѣхала въ шестомъ часу, захвативъ съ собой «что-то завернутое въ бумагу и похожее на револьверъ».

Она поѣхала на Староградскую, но по дорогѣ завернула къ швеѣ Лещинской, которая поправляла, укорачивала ей пенюаръ, вспыхнувшій на ней въ субботу, и, по словамъ Лещинской, «была въ миломъ и веселомъ духѣ». Осмотрѣвъ пенюаръ и завернувъ его въ бумагу вмѣстѣ съ тѣмъ сверткомъ, который она взяла изъ дому, она еще долго сидѣла въ мастерской, среди дѣвушекъ мастерицъ, все говорила: «Ой, Матерь Божія, какъ я опоздала, пора мнѣ уходить, ангелочки!» — и все не уходила. Наконецъ рѣшительно поднялась и со вздохомъ, но весело сказала:

— Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички, ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мнѣ такъ пріятно было въ вашемъ миломъ женскомъ кругу, а то все съ мужчинами да съ мужчинами!

И, еще разъ съ улыбкой покивавъ съ порога головой, вышла. . .

Зачѣмъ взяла она съ собой револьверъ? Револьверъ этотъ принадлежитъ Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагинъ застрѣлится. «Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что черезъ нѣсколько дней надолго уѣзжала за границу» — сказалъ прокуроръ и добавилъ:

— Такъ отправилась она на роковое, но не завѣдомо роковое для нея свиданіе. Въ семь часовъ она была въ домѣ № 14 по Староградской, въ квартирѣ № 1 — и вотъ дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утромъ 19 іюня. Что тамъ происходило ночью? Объ этомъ рассказать намъ некому — кромѣ Елагина. Послушаемъ-же его еще разъ. . .

XIII.

И еще разъ, въ глубокомъ молчаніи, выслушали мы всѣ, вся многолюдная зала суда, тѣ страницы обвинительнаго акта, которыя прокуроръ счелъ нужнымъ возстановить въ нашей памяти и которыми кончался рассказъ Елагина.

— Въ понедѣльникъ 18 іюня я послалъ ей записку, что свободенъ съ двѣнадцати часовъ дня. Она отвѣтила: «Въ шесть, на Староградской».

— Въ шесть безъ четверти я былъ на мѣстѣ и привезъ съ собой закусокъ, двѣ бутылки шампанскаго, двѣ бутылки портеру, два стаканчика и флаконъ съ одеколономъ. Но ждать пришлось долго: она пріѣхала только въ семь. . .

— Войдя, она разсѣянно поцѣловала меня, прошла во вторую комнату и бросила свертокъ, который привезла съ собой, на диванъ. — «Выйди, — сказала она мнѣ по французски, — я хочу раздѣться». — Я вышелъ и опять долго сидѣлъ одинъ. Я былъ вполне трезвъ и страшно подавленъ, смутно чувствуя, что все кончено, кончается. . . Впрочемъ и обстановка была

странная: я сидѣлъ при огнѣ, какъ ночью, а межъ тѣмъ я зналъ и чувствовалъ, что на дворѣ, за стѣнами этихъ глухихъ и темныхъ комнатъ, еще день, прекрасный лѣтній вечеръ. . . Она долго не звала меня, не знаю, что она дѣлала. За дверью было совершенно тихо. Наконецъ, она крикнула: «Иди, теперь можно...»

— Она лежала на диванѣ, въ одномъ пенюарѣ, съ голыми ногами, безъ чулокъ и безъ туфель, и молчала, исподлобья глядѣла въ потолокъ, на фонарь. Свертокъ, съ которымъ она пріѣхала, былъ развернуть, и я увидалъ свой револьверъ. Я спросилъ: «А это ты зачѣмъ привезла?» Она отвѣтила не сразу: «Такъ. . . Вѣдь, я уѣзжаю. . . Ты лучше держи его здѣсь, а не дома. . .» У меня мелькнула страшная мысль: «Нѣтъ, это не просто!» — но я ничего не сказалъ. . .

— И разговоръ, который начался между нами послѣ этого, шелъ довольно долго съ принужденіемъ, холодно. Я втайнѣ страшно волновался, — все хотѣлъ сообразить что-то, все ждалъ, что вотъ-вотъ я соберусь съ мыслями и скажу ей, наконецъ, что-то важное и рѣшительное, — вѣдь я понималъ, что это, можетъ быть, послѣднее наше свиданіе или, во всякомъ случаѣ разлука надолго, — и все ничего не могъ, чувствовалъ свое полное безсиліе. Она сказала: «Кури, если хочешь. . .» — «Но вѣдь ты не любишь», отвѣтилъ я.

— «Нѣтъ, теперь все равно, сказала она. — И дай мнѣ шампанскаго. . .» Я такъ этому образовался, точно это было моимъ спасеніемъ. Мы въ нѣсколько минутъ выпили всю бутылку, я сѣлъ возлѣ нея и сталъ цѣловать ея руки, говоря, что я не переживу ея отъѣзда. Она ерошила мнѣ волосы и разсѣянно говорила: «Да, да. . . Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой. . .»

Все и всё противъ насъ, только, можетъ, одинъ Богъ за насъ. . . Я люблю твою душу, люблю твою фантазію...» Что она хотѣла выразить этимъ послѣднимъ словомъ, я не знаю. Я посмотрѣлъ верхъ подъ зонть, и сказала: «Посмотри, мы тутъ съ тобой какъ въ склепѣ. И какъ тихо!» Въ отвѣтъ она только грустно улыбнулась. . .

— Часовъ въ десять она сказала, что ей хочется ѣсть. Мы перешли въ переднюю комнату. Но ѣла она мало, я тоже, — мы больше пили. Вдругъ она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купилъ! Въ слѣдующій разъ не смѣй больше этого дѣлать». — «Но когда же будетъ теперь этотъ слѣдующій разъ?» — спросилъ я. Она странно посмотрѣла на меня, потомъ уронила голову и закатила глаза подъ лобъ. «Иисусъ, Марія, прошептала она, чтожъ намъ дѣлать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдемъ скорѣй.»

— Черезъ нѣкоторое время я взглянулъ на часы: былъ уже второй часъ. «Ой, какъ поздно, — сказала она. — Надо сію же минуту ѣхать домой.» Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уѣзжать какъ можно скорѣе, а не могу двинуться съ мѣста. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рокъ, моя судьба, Божья воля. . .» И этого я не могъ понять. Вѣроятно, она хотѣла сказать что-то общее съ тѣмъ, что написала потомъ: «Умираю не по своей волѣ.» Вы думаете, что она этой фразой выразила свою беззащитность передо мной. А по моему, она хотѣла сказать другое: что наша несчастная встрѣча съ ней — рокъ, Божья воля, что она умираетъ не по своей, а по Божьей волѣ. Впрочемъ я не придалъ тогда особаго значенія ея словамъ, я давно привыкъ

къ ея странностямъ. Потомъ она внезапно сказала: «Есть у тебя карандашъ?» Я опять былъ удивленъ: зачѣмъ ей карандашъ? Однако поспѣшилъ подать, — онъ былъ у меня въ записной книжечкѣ. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказала: «Но послушай, неудобно на моей визитной карточкѣ писать записки.» — «Нѣтъ, это такъ, замѣтки для себя, отвѣтила она. — Оставь меня подумать и подремать.» — И, положивъ исписанную карточку себѣ на грудь, закрыла глаза. Стало такъ тихо, что я впалъ въ какое-то оцѣпенѣніе. . .

— Такъ прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдругъ она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, — я пришла возвратить тебѣ твое кольцо. Ты самъ хотѣлъ вчера все кончить.» И, приподнявшись, бросила кольцо на выступъ стѣны: — «Развѣ ты меня любишь? — почти крикнула она. — Не понимаю, какъ ты можешь спокойно предоставлять мнѣ продолжать жить! Я женщина, у меня нѣтъ рѣшимости. Я не боюсь смерти, — боюсь страданій, но ты бы могъ однимъ выстрѣломъ покончить со мной, а потомъ съ собой.» — И тутъ я еще больше, съ страшной ясностью понялъ весь ужасъ, безысходность нашего положенія, и что оно должно наконецъ разрѣшиться чѣмъ-нибудь. Но убить ее — нѣтъ, я чувствовалъ, что этого я не могу. Я чувствовалъ другое: настала рѣшительная минута для меня. Я взялъ револьверъ и взвелъ курокъ. «Какъ? Только себя? — воскликнула она, вскакивая. — Нѣтъ, клянусь Іисусомъ, ни за что!» — И выхватила револьверъ у меня изъ рукъ. . .

— И опять настало это мучительное молчаніе. Я сидѣлъ, она лежала, не двигаясь. И вдругъ невнятно,

про себя сказала что-то по польски и затѣмъ ко мнѣ: «Дай сюда мое кольцо.» — Я подалъ. — «И свое!» — сказала она. Я поспѣшилъ исполнить и это. Она надѣла на палецъ свое, а мнѣ приказала надѣть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчасъ люблю. Я тебя свела съ ума и замучила, но ужъ таковъ мой характеръ и такова наша судьба. Дай мнѣ мою юбку и принеси портеру. . .» Я подалъ ей юбку и пошелъ за портеромъ, а когда вернулся, увидалъ, что возлѣ нея стоитъ скляночка съ опиѣмъ.— «Слушай, — сказала она твердо. — Теперь уже конецъ комедіямъ. Ты можешь жить безъ меня?» Я отвѣтилъ, что нѣтъ. — «Да, сказала она, я взяла всю твою душу, всѣ твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если такъ, возьми и меня съ собой. Мнѣ безъ тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь съ сознаниемъ, что я наконецъ уже вся твоя — и навѣки. А теперь слушай мою жизнь. . .» И она опять легла и, помолчавъ минуту и успокоившись, не спѣша стала мнѣ рассказывать всю свою жизнь съ самага дѣтства. . . Я почти ничего не помню изъ этого разсказа. . .

XIV.

— Не помню и того, кто изъ насъ сталъ раньше писать. . . Я переломилъ карандашикъ пополамъ. . . Мы стали писать и писали все время молча. Я написалъ, кажется, прежде всего отцу. . . Вы спрашиваете, почему я упрекалъ его, что «онъ не хотѣлъ моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласія на мой бракъ съ ней? Не знаю. . . Вѣдь, онъ все

равно не согласился бы. . . Потомъ я писалъ однополчанамъ, прощался съ ними. . . Потомъ, кому еще? Командиру полка, о томъ, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите: значить, у меня была увѣренность, что я покончу съ собой? Конечно. Но какъ же все-таки я не сдѣлалъ этого? Не знаю. . .

— А она писала медленно, останавливаясь и обдумывая что-то: напишетъ слово и исподлобья глядитъ въ стѣну. . . Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало. . . Мнѣ кажется, что и въ могилѣ не будетъ такъ страшно, какъ когда мы въ этотъ поздній часъ, въ этой тишинѣ, подъ этимъ фонаремъ, писали всѣ эти ненужныя записки. . . Это была ея воля писать ихъ. Я вообще безпрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мнѣ въ эту ночь, вплоть до самаго послѣдняго момента. . .

— Вдругъ она сказала: «Довольно. И, ужъ если дѣлать, такъ скорѣе. Дай же мнѣ портеру, благослови, Матерь Божія!» — Я налилъ стаканъ портеру, и она, приподнявшись, рѣшительно бросила въ него щепотку порошку. Выпивъ больше половины, она остальное велѣла допить мнѣ. Я выпилъ. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

— Какъ именно я сдѣлалъ это? Я, кажется, обнялъ ее лѣвой рукой, — да конечно, лѣвой, — и прильнулъ къ ея губамъ. Она говорила: «Прощай, прощай. . . Или нѣтъ: здравствуй, и теперь уже навсегда. . . Если не удалось здѣсь, то тамъ, наверху. . .» Я прижался къ ней и держалъ палецъ на спускѣ револьвера. . . Помню, я чувствовалъ, какъ дергалось все мое тѣло. . . А потомъ

какъ-то самъ собой дернулся палець... Она успѣла сказать по-польски: «Александръ, мой возлюбленный!»

— Въ которомъ часу это было? Думаю, что въ три. Что я дѣлалъ послѣ этого еще два часа? Но я съ часъ шель до Лихарева. А остальное время я сидѣлъ возлѣ нея, потому зачѣмъ-то приводилъ все въ порядокъ...

— Почему я не застрѣлился самъ? Но я какъ-то забылъ объ этомъ. Когда я увидѣлъ ее мертвой, я забылъ все въ мірѣ. Я сидѣлъ и только смотрѣлъ на нее. Потомъ, въ такомъ же дикомъ безсознаніи сталъ прибирать ее и комнату... Я не могъ бы не сдержать слова, которое я далъ ей, что послѣ нея я убью себя, но мной овладѣло полное безразличіе... Такъ же безразлично отношусь я и теперь къ тому, что живу. Но я не могу примириться съ тѣмъ, что думаютъ, будто я палачъ. Нѣтъ, нѣтъ! Можетъ быть, я виноватъ передъ людскимъ закономъ, виноватъ передъ Богомъ, но не передъ ней!

XV.

Десятью годами каторги долженъ искупить Елагинъ свою вину передъ людскимъ закономъ.

А передъ Богомъ и передъ ней?

Божій судъ не вѣдомъ. А что сказала бы она, если было бы въ нашей власти поднять ее изъ гроба? И кто посмѣлъ бы тогда стать между ними?

Приморскія Альпы, 1925 г.

СТРАШНЫЙ РАЗСКАЗЪ

Въ голомъ, обезображенномъ зимней смертью паркѣ, чернѣвшемъ передъ домомъ, была темнота и пустыньность мартовской ночи, и на старый, сѣрый снѣгъ порошилъ молодой, бѣлый, нѣжный, какъ лебяжій пухъ.

Они, — извѣстно только то, что ихъ было двое, — сидѣли въ паркѣ съ вечера, выжидали самага глухого часа.

И домъ зорко глядѣлъ въ темный паркъ множествомъ освѣщенныхъ оконъ: она, эта старая француженка въ каштановомъ парикѣ и съ рачьими глазами, за отъѣздомъ хозяевъ въ городъ жившая въ домѣ совсѣмъ одна, чувствовала зловѣщее присутствіе тѣхъ, что стерегли ее: она освѣтила всѣ комнаты, — а ихъ было много и всѣ онѣ были большія, — она рѣшила не спать всю ночь и все ходила изъ комнаты въ комнату, по всему пустому и блистающему лампами и канделябрами дому.

Страннѣ всего то, что вмѣсто того, чтобы пойти въ подвальный этажъ, гдѣ спали горничная и прачка, или въ людскую, гдѣ ночевала дворня, вмѣсто того, чтобы позвать кого-нибудь къ себѣ, она, уже твердо зная,

свою обреченность, только ходила изъ комнаты въ комнату и даже вздумала писать записочки.

Она писала:

— Двѣнадцать съ четвертью. Все хожу и хожу! Чувствую, что я погибла. Въ саду кто-то есть. Я даже знаю, что ихъ двое. . .

— Только что пробило часъ — внизу, на большихъ часахъ въ вестибюль. Пробило страшно и торжественно. . . Одинъ изъ нихъ — маленькій, съ кривыми, какъ у таксы, ногами. Но я не буду спать всю ночь, я буду защищаться. . .

Она играла на рояли кэкъ-уокъ, — много разъ принималась играть, играла бурно, съ отчаяннымъ весельемъ, и все обрывала:

— Какъ сумасшедшая, играю кэкъ-уокъ, писала она. Ужасъ мой доходить до экстаза. . .

Потомъ она перебирала книги въ шкапу въ кабинетѣ, смотрѣла и бросала ихъ на полъ, оставила всѣ дверцы открытыми. Она выбирала что-нибудь почитать и взяла, наконецъ, томъ географіи Реклю.

На хозяйскомъ письменномъ столѣ она оставила еще одну записку:

— Боже мой! Но почему-же должна быть этой жертвой я? Я буду защищаться, живой я не сдамся!

Съ Реклю въ рукахъ она прилегла на кабинетный сафьяновый диванъ и, развернувъ книгу, почитала нѣкоторое время и даже сдѣлала карандашомъ нѣсколько отмѣтокъ.

На этомъ же диванѣ и нашли ее утромъ, — съ перерѣзаннымъ горломъ, безъ парика, съ голымъ черепомъ, съ дикими, рачьими глазами, стоячими, изумленными.

Стекла въ двойныхъ гостинныхъ дверяхъ. выходившихъ въ садъ, на балконъ, были выдавлены, вынуты. Вѣтеръ дулъ въ гостиную, несъ изъ бѣлесаго парка холодный паръ, туманъ. И весь домъ пылалъ огнями, желтѣвшими въ блѣдномъ свѣтѣ сырого и бѣлаго, мгlistaго дня.

Кто зарѣзалъ? И зачѣмъ?

Зарѣзали они, тѣ двое, что сидѣли въ саду. А зачѣмъ — непостижимо: они не унесли, не тронули ни единой вещички.

Въ самомъ дѣлѣ, ихъ было двое. Это доказывали мокрые, грязные слѣды, оставленные ими на паркетѣ. И слѣды одного были не совсѣмъ обычны, широко разставлены другъ отъ друга, кривы... Несомнѣнно, онъ былъ криволапъ.

Ихъ было двое. Но кто были они? Неизвѣстно. Ихъ не нашли, не поймали.

Все-таки самое страшное на землѣ — человекъ, его душа.

И особенно та, что, совершивъ свое страшное дѣло, утоливъ свою дьявольскую похоть, остается навсегда невѣдомой, не пойманной, не разгаданной.

Гдѣ они теперь, эти двое? А вѣдь очень можетъ быть, что они и до сихъ поръ живы, гдѣ-то что-то дѣлаютъ, ходятъ, ѣдятъ, пьютъ, разговариваютъ, смѣются и курятъ...

Парижъ, 1926 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Митина любовь	7
Святитель	89
Именины	91
Скарабей	93
Богиня	95
Музыка	112
Слѣпой	114
Товарищъ Дозорный	117
Мухи	126
Сосѣдъ	131
Лапти	141
Слава	144
Надписи	154
Русакъ	162
Книга	164
Солнечный ударъ	169
Ида	180
Мордовскій сарафанъ	192
Дѣло корнета Елагина	198
Страшный рассказъ	249